

Леонид Карпов



**Багиня.
Росказы**

Леонид Карпов
Багиня. Рассказы

«Автор»

2026

Карпов Л.

Багиня. Росказы / Л. Карпов — «Автор», 2026

Встречайте «Багиню» – сборник рассказов, полных сочного юмора, тонкой иронии и житейской мудрости. Большинство историй крутится вокруг колоритных женских персонажей, штурмующих превратности судьбы с гордо поднятой головой. Однако книга выходит далеко за рамки юмора и «женских» тем. От автора романов «Приключения баронессы Мюнхгаузен», «Девчонка с Сектора Газа» и «Впечатлительная Грета».

© Карпов Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Багиня	5
Веселый будуар	7
Разумный биткоин	16
Искусство быть дурачком	17
Тектоника чувств	18
Что будет, если черная дыра станет женщиной?	19
Моргнул – и на пенсии	20
Биологический Абсолют	21
Свобода слова	22
Богиня геометрии	24
Случайный клик, который выключил мир	26
Орогения	28
Красная Шапочка и маньяк	29
Что будет, если влюбиться в квантовое существо?	30
Дзен и искусство доставки посылок	33
Она была в Париже и Эфиопии одновременно	34
Платон Похотливый	37
Мученица вежливости	38
Красота, рожденная из текста	43
Утро в стиле будуар	45
Смерть автора	46
Вакуум	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Леонид Карпов

Багиня. Росказы

Багиня

Нынешний человек устроен удивительно нелепо. Раньше, бывало, чтобы сойти за порядочную даму, нужно было иметь хотя бы приличные манеры, крахмальный воротничок и три курса гимназии. Нынче – упаси боже. Нынче, чтобы тебя почитали за земное божество, надобно всего три вещи: телефон системы «айфон», скорбное выражение лица и полное отсутствие стыда.

Вот, взять хоть Лидочку. То есть, в паспорте она, конечно, Лидочка, но в синей сети ее величают исключительно Изольдой.

Все началось год назад, когда Лидочка сидела на коворкинг-диване и медитировала на свой банковский счет. Там сиротливо светились 412 рублей. Но Лидочка не унывала. Она знала: это не бедность, это временный баг Вселенной.

Лидочка стала блогером в Запрещеннограме. Но не просто блогером. Она стала БАГиной – существом высшего, заэкранного порядка, призванным страдать на камеру ради просветления человечества. И пускай завистники шептались, что ее божественный статус держится исключительно на честном слове и китайских приложениях для коррекции фигуры, Лидочка надменно молчала. Истинные БАГини на критику смертных не размениваются, они ее просто блокируют.

Изольда транслировала миру БАГолепие.

Это такое специальное состояние души и фасада, когда на лице нет ни единой живой морщины – все заглажено цифровым утюгом до состояния бильярдного шара. Ежели Изольда улыбнется – экран треснет от натуги. Поэтому она не улыбается. Она несет себя как хрустальную вазу с тухлой водой.

Утро БАГини начинается со скорби. Она садится на кровать, поджигает искусственно удлиненные фотошопом ноги и пишет пост:

«Мои дорогие! Шлю вам лучи космической БАГодарности. Вчера я плакала три часа. Вселенная нашептала мне, что вы несчастны. Но я получила БАГословение свыше и создала Гайд по Дыханию Маточкой. Цена – всего сто тысяч. Спешите, места ограничены моим милосердием».

Сама Лидочка при этом сидит в БАГадельне. Раньше богадельнями называли приюты для сирых и убогих. Но ее БАГадельня – это тридцатиметровая конура в престижном квартале, где Изольда ютится на пару с гадалкой Аэлитой. Они делят пополам не только аренду, но и одну приличную сумочку от Шанель. По четным числам с сумочкой ходит Изольда, по нечетным – Аэлита берет аксессуар на сеансы ворожбы на картах Таро. Ежели число выпадает тридцать первое – сумочку запирают в комод, чтобы не портить кожу.

Днем в БАГадельню вихрем влетает Радислав.

Радик – это местный БАГач. У него куртка с чужого плеча, зато зубы – чистый БАГетный ряд. Белые до синевы, ровные, как забор у хорошего дачника.

Радик вообще был известным на всю сеть БАГодетелем и БАГотворителем. Раз в месяц он на камеру покупал три килограмма сосисок для приюта бездомных собак, а оставшиеся тридцать дней плакался в сторис о том, как его тонкая, сострадательная душа изнывает от несовершенства этого мира.

Разговаривать с Радиком лицом к лицу трудно: отблеск от его виниров слепит собеседника и вызывает мигрень.

– Катастрофа! – кричит Радик с порога, сверкая фаянсом. – Лидка, одолжи Шанель на два часа! Мне нужно у чужого Порше сфотографироваться для прогрева курса «Как выйти из нищеты за три дня». А у Аэлиты сумку точно не допросишься, говорит, ее кварцевый дилдо только в нее и помещается!

– Не дам, – сухо отвечает БАГиня, бережно поправляя на носу темные очки. – У меня самой через час съемка в БАГхаусе. Мы с девочками скинулись по три тысячи и сняли предбанник в загородном отеле. Будем снимать, будто это моя личная вилла в Ницце.

– Да какая Ницца, – машет рукой Радик. – Твой БАГаж жизни все и так знают. Ты ж в Подольске на гуталиновой фабрике сидела, пока губы не надула.

Изольда бледнеет под слоем цифрового фильтра:

– Хам! Мой БАГаж жизни – это трагедия! Я духовно росла через боль! И вообще, Радик, у тебя на последнем видео левое ухо уплыло в воротник, когда ты фильтр «Успешный мужчина» накладывал. Весь твой бизнес-класс – сплошной баг.

Радик задумывается. С ухом действительно вышло неловко. Подписчики в комментариях уже три часа спрашивают, почему у миллионера левая мочка висит на уровне плеча, словно ее жевал бульдог.

Вечером они сидят на полу БАГадельни. Сумочка Шанель мирно покоится на табуретке, как семейная икона. Изольда и Радик уныло тычут пальцами в экраны, возвращая уплывшие уши на место и стирая с фотографий случайные тени подольского детства. Ведь истинный БАГач никогда не сдастся. Он просто обновляет версию своего обмана.

Вокруг темно. На Патриарших прудах зажигаются фонари. Настоящие боги на небесах, должно быть, тихонько посмеиваются, глядя на это ручное, домашнее БАГолепие в рассрочку.

Но марафон БАГини покупают. Покупают швеи из Пензы и бухгалтеры из Твери, мечтающие о таком же красивом, ровном, цифровом несчастье.

Веселый будуар

Маркиза де Ля Шпилька возлежала на кушетке в позе «умирающего лебедя, который только что узнал цену на новый корсет». Ее будуар напоминал поле боя, на котором столкнулись магазин тканей и кондитерская: повсюду змеились шелковые ленты, а пудра летала в воздухе с такой интенсивностью, что лакей Жан-Люк, в чьи обязанности входило не только подавать вино, но и хранить в тайне все грешки госпожи, чихал строго в ритме менюэта.

– Жан-Люк, мой верный соучастник помады и сплетен! – возопила Маркиза, прижимая к груди флакон с нюхательной солью. – Мир рушится! Если мой дражайший супруг вернется из похода и увидит этот беспорядок, он решит, что в его отсутствие в будуаре квартировал целый полк гусар! Хотя, признаться, вчера вечером здесь был всего один Граф де Ришелье, и тот едва поместится за ширмой. Кстати, Граф обещал навестить меня сегодня, чтобы забрать на бал, а моя левая туфелька порвалась!

Лакей, привыкший к трагедиям масштаба «забытая мушка на левой щеке» и уже присмотревший себе в уме новые сапоги на комиссионные от молчания, невозмутимо подал госпоже бокал шампанского.

– Мадам, Граф уже в приемной. Он упражняется в остроумии перед зеркалом, проверяя, достаточно ли мужественно выглядит его новый парик, – доложил он.

Маркиза вскочила, путаясь в трех метрах тюля.

– Скорее! Неси мои лучшие туфельки! Те самые, с которыми даже святой Антоний согласился бы пойти на грех, если бы в них подавали десерт!

В этот момент дверь распахнулась. Граф де Ришелье, сияя бледно-розовым камзолом, вошел, готовый пасть на колени. Но будуар – территория коварная. Наступив на забытую ленту, Граф совершил изящный пируэт, который не снился лучшим танцорам Версаля, и приземлился аккурат в корзину с накрахмаленными чепчиками.

Маркиза замерла с одной туфелькой в руке и босой ногой, которую она пыталась спрятать под подолом.

– Граф! – воскликнула она, быстро соображая. – Вы решили штурмовать мою крепость с тыла... то есть с бельевой корзины? Какая страсть!

Граф, чей парик теперь украшал кружевной чепец с розовыми бантами, не растерялся. Он выпрямился, сохраняя достоинство свергнутого монарха, и произнес:

– Мадам, я просто искал кратчайший путь к вашему сердцу. Оказалось, он пролегает через ваши лучшие кружева.

Они посмотрели друг на друга: она – с одной босой ногой, он – в дамском чепце поверх парика.

– Жан-Люк! – скомандовала Маркиза, протягивая Графу руку. – Подай Графу зеркало. А мне – другие туфли. Кажется, этот вечер обещает быть гораздо веселее, чем скучное соблазнение по правилам.

*

Бал в особняке герцога де Фру-Фру обещал стать событием сезона, но для Маркизы и Графа он превратился в спецоперацию по спасению остатков репутации.

Когда карета остановилась у парадного входа, Маркиза де Ля Шпилька выглядела безупречно. Почти. Никто бы не догадался, что под ее пышной юбкой скрываются кое-какие недостатки. Жан-Люк, не найдя другой обуви, в спешке починил порванную туфельку. Точнее, просто прикрыл дырку длинным шелковым бантом, завязав его на три узла. Что касается Графа де Ришелье, то он пах не только мускусом, но и лавандовым мылом из той самой корзины с чепчиками.

– Граф, – прошептала Маркиза, обмахиваясь веером так яростно, что у стоящего рядом лакея зашевелились бакенбарды. – Если вы еще раз хихикнете при упоминании слова «кружево», я забуду о приличиях и уколую вас шпилькой прямо в ваше «испуганное нимфовое» бедро!

– Мадам, я само спокойствие, – ответил Ришелье, пытаясь незаметно поправить парик, который после падения в будуаре сидел набекрень, придавая ему вид пьяного единорога. – Главное – не делать резких движений.

Но у судьбы был другой сценарий. Распорядитель бала объявил менуэт.

Это был танец высокого риска. Каждый раз, когда Граф должен был склониться в глубоком реверансе, он чувствовал, как бант на тупле Маркизы медленно, но верно переползает на его собственный ботинок.

– Мы срастаемся, Маркиза! – прошипел Граф во время очередного па. – Мы станем первым в истории сиамским дуэтом аристократов!

– Молчите и танцуйте! – скомандовала она. – Делайте вид, что это новый парижский тренд – «двойной шаг в обнимку со шнурками».

В кульминационный момент танца, когда пары должны были разойтись, бант окончательно запутался в шпоре Графа. Вместо изящного расхождения Маркиза, притянутая к его ноге невидимой, но крепкой нитью, совершила эффектный прыжок и буквально влетела в объятия старой герцогини де Боа, которая в этот момент мирно жевала засахаренную фиалку.

Зал ахнул. Оркестр сбился с ритма.

– Боже мой! – воскликнула герцогиня, выплевывая фиалку. – Какая экспрессия! Какое современное прочтение классики!

Граф, не растерявшись, мгновенно встал на одно колено (волоча за собой ногу Маркизы) и воскликнул на весь зал:

– Это аллегория, дамы и господа! «Неразрывные узы любви»! Мы с Маркизой репетировали этот номер три недели, чтобы показать вам всю тяжесть... э-э... привязанности!

Зал взорвался аплодисментами. Кто-то из дам даже всплакнул, решив, что это самый романтичный жест года.

Позже, спрятавшись на балконе и наконец-то отлепив злосчастный бант, Маркиза перевела дух.

– Граф, вы лжец, авантюрист и полный идиот.

– Именно поэтому вы выпьете со мной это ворованное шампанское, Маркиза? – он протянул ей бокал.

– Именно поэтому, – вздохнула она. – Но если вы завтра придете ко мне без запасной пары обуви, я прикажу Жан-Люку запереть вас в шкафу с корсетами.

*

Утро в особняке Маркизы де Ля Шпилька началось не с пения птиц, а с грохота упавшего подноса. Горничная Фаншетта, чьи глаза светились ярче утреннего солнца (и явно не от радости за хозяйку), вошла в будуар с какой-то бумагой.

– Мадам, – пропела Фаншетта, делая реверанс такой глубины, что едва не зачерпнула подолом кофейник. – На кухонной лестнице найден листок. Почерк Графа, аромат его одеколona «Одинокий фавн». Кажется, он пытался написать оду вашим ногам, но запутался в рифмах. В нем «неразрывные узы» соседствуют с «атласными конфузами», а в конце приписка: «Проверить, не потеряла ли Маркиза подвязку в корзине с чепцами».

Маркиза, чей утренний чепец напоминал взбитое облако с легким налетом похмельной меланхолии, поперхнулась горячим шоколадом.

– Дай сюда! – выхватила она бумагу. – Этот идиот решил закрепить успех нашего «перформанса» литературным трудом?

В этот момент в дверь поскреблись. Вошел Граф. Он выглядел так, будто всю ночь сражался с ветряными мельницами, и мельницы победили: камзол был застегнут на одну пуговицу выше положенного, а в руках он сжимал букет увядших астр, которые, судя по виду, отобрал у садовника в честном бою.

– Маркиза! Я пришел смыть позор... или хотя бы позавтракать, – провозгласил он, падая в кресло. – Вы видели утренний листок? Весь Париж обсуждает наш «танец страсти». Герцогиня де Боа уже заказала себе такие же липкие банты на туфли!

– Граф, – ледяным тоном произнесла Маркиза, махая перед его носом письмом. – Ваша муза нуждается в порке. Фаншетта нашла это. Если ваша ода попадет в руки кляузников из «Версальского вестника», нас сошлют в провинцию выращивать репу раньше, чем вы допьете этот кофе! А уж если узнает муж...

Граф побледнел, глядя на Фаншетту. Горничная многозначительно поправила фартук.

– Ах, мадам... Память у меня такая короткая... – вздохнула девушка. – Вот если бы у меня были те коралловые бусы, что вы обещали на Пасху... я бы сразу забыла, как читать.

Маркиза и Граф переглянулись. Юмор ситуации заключался в том, что в будуаре власть всегда переходит к тому, кто держит в руках поднос или метлу.

– Фаншетта, – вкрадчиво начал Граф, доставая из кошелька золотой, – а не кажется ли вам, что эти бусы будут идеально смотреться с абонементом в оперу для вашего... как его... кучера Пьера?

– Кажется, Ваше Сиятельство, – просияла девица, ловко пряча монету в корсаж. – И стихи, теперь я вижу, вовсе не про конфузы, а про... арбузы! Чистое искусство.

Когда горничная скрылась, Маркиза швырнула в Графа круассаном.

– Вы разорите меня своим «искусством»! Теперь нам нужно срочно придумать, как выглядеть прилично на сегодняшнем приеме у министра финансов.

– У меня есть идея, – Граф хитро прищурился, вытирая крошки с жабо. – Мы скажем, что неуклюжесть – это новый писк моды. Я уже заказал нам две одинаковые трости с набалдашниками в виде сплетенных змей.

– Змей? – Маркиза приподняла бровь. – Символично. Одна – я, другой – вы.

*

Завтрак только начал переходить в стадию конструктивного обмена колкостями, как вдруг снизу донесся звук, от которого у Графа задрожал кофий, а у Маркизы – стратегические запасы хладнокровия. Это был не просто стук. Это был грохот сапог, которые привыкли топтать не паркет Версаля, а грязь Пруссии.

– Моя жена! Моя крепость! Мои погреба! – взревел голос, от которого зазвенели хрустальные подвески на люстре.

– Муж... – выдохнула Маркиза, мгновенно превращаясь из светской львицы в испуганного воробья. – Полковник де Ля Шпилька. Он же должен был осадить крепость под Магдебургом еще минимум полгода!

– Видимо, крепость сдалась от одного его голоса, – прошептал Граф, лихорадочно озираясь в поисках выхода. – Маркиза, шкаф? Окно? Камин?

– В камине огонь, в окне – кусты с шипами, а в шкафу – мои новые платья, там нет места даже для вашей совести! – отрезала она. – Быстро! Прыгайте на кушетку и накройте моим кринолином!

Граф, проявив чудеса акробатики, на которые не был способен даже во время вчерашнего менуэта, нырнул под гору атласа и кружев. Маркиза едва успела набросить сверху шаль и принять позу «я читаю псалтирь и скучаю по супругу», как дверь вылетела с петель.

Ворвался Полковник. Он был покрыт дорожной пылью, пороховым дымом и неукротимым желанием немедленно получить свою порцию семейного счастья.

– Жюли! – взревел он, хватая Маркизу в охапку так, что у нее потемнело в глазах. – Я скакал три дня без продыху! Король дал мне отпуск за взятие редута! Но что это? Почему в твоём будуаре пахнет... – он принюхался, – мужским парфюмом «Весенний вепрь» и страхом?

– Это... это новые притирания от мигрени, дорогой! – пискнула Маркиза. – А запах страха – это мой восторг от твоего внезапного появления! Но почему ты смотришь на мою кушетку?

Полковник нахмурился. Кушетка, вопреки законам физики, слегка подергивалась. У Графа под кринолином случился приступ аллергии на ту самую пудру, которой Жан-Люк щедро посыпал комнату с утра.

– Почему твоя мебель шевелится, Жюли? – Полковник медленно потянул из ножен саблю. – В Магдебурге так шевелились только мешки с порохом перед взрывом.

– Это... это моль! – отчаянно воскликнула Маркиза, прыгая сверху на гору ткани, прямо на то место, где предположительно находилась спина Графа. – Очень крупная, породистая моль! Я пытаюсь ее задавить!

В этот момент из-под юбок раздалось приглушенное, но отчетливое: «Апчхи!»

Полковник замер. Маркиза зажмурилась.

– Жюли, – медленно произнес муж, – с каких это пор моль чихает баритоном?

*

Полковник де Ля Шпилька занес саблю над кушеткой, как палач над плахой. Маркиза, чувствуя, как под ней отчаянно извивается «моль» в шелковых панталонах, выдала шедевр импровизации.

– Стой, монстр! – закричала она, загораживая собой гору кружев. – Ты убьешь достояние короны! Это не моль! Это... секретный акустический эксперимент Его Величества!

Полковник замер, и кончик сабли дрогнул.

– Эксперимент? В моем будуаре? С чихающим баритоном?

– Именно! – Маркиза вдохновенно замахала веером, создавая дымовую завесу из пудры. – Министр финансов лично просил меня протестировать «Живое эхо». Под эту тканью спрятан... новейший механизм из Голландии, который повторяет звуки хозяина дома, чтобы создавать иллюзию присутствия! Он чихнул, потому что учуял твою героическую дорожную пыль, о мой герой!

Граф под кринолином, сообразивший, что это его единственный шанс не превратиться в шашлык, выдал второе «Апчхи!», но на октаву выше, имитируя механический скрип.

– Слышишь? – торжествующе воскликнула Маркиза. – Он калибруется!

Полковник, чей интеллект был заточен под взятие редутов, а не под разгадывание дамских интриг, подозрительно прищурился.

– Механизм, говоришь? А ну-ка, пусть он скажет: «Полковник – гроза Пруссии!»

Наступила тишина. Маркиза впила ногтями в обивку кушетки, посылая Графу невербальный сигнал: «Говори, или я сама тебя придушу!»

Из-под юбок донесся приглушенный, металлический, но пугающе знакомый голос Ришелье:

– Пол-л-лков-в-вник – гр-р-роза Пр-р-руссии... И-и-ик!

– Он еще и икает? – удивился муж.

– Это шестеренки смазки просят! – быстро вставила Маркиза. – Видишь, дорогой, как наука шагнула вперед? А теперь, мой грозный лев, иди в ванную, смой кровь врагов, а я... я вызову Жан-Люка, чтобы он унес этот хрупкий прибор в мастерскую.

Когда шаги Полковника затихли в недрах дома, из-под горы атласа показался Граф. Он был красный, потный и с клоком кружев во рту.

– Маркиза, – прохрипел он, выбираясь на свет, – я официально заявляю: шпионаж в тылу врага легче, чем быть вашей кушеткой.

– Уходите через балкон, «механический икальщик»! – прошипела она, заталкивая его в сторону окна. – И если я увижу вас завтра без официального приглашения, я скажу мужу, что прибор сломался и его нужно порубить на дрова!

Граф перемахнул через перила, на лету зацепившись париком за ветку жасмина. А Маркиза, поправив прическу, крикнула в сторону ванной:

– Дорогой, а ты привез мне из Магдебурга те трофейные изумруды, о которых писал в письме между вторым и третьим штурмом?

*

Вечерний раут у графини де Монпансье был в самом разгаре, когда в залу вошел Полковник де Ля Шпилька. Он сиял, как свежеччищенная кираса, и вел под руку супругу, чья улыбка была такой ослепительной, что могла бы служить маяком для заблудших кораблей.

– Жюли, душа моя, – гремел Полковник на всю залу, – я чувствую себя обновленным! Ванна, чистый камзол и осознание того, что наука не стоит на месте... Кстати, где тот мастер, что изобрел твое «Живое эхо»? Я хочу пожать ему руку!

Маркиза нервно сжала веер. В этот момент двери распахнулись, и лакей провозгласил:

– Граф де Ришелье!

Граф вошел, прихрамывая на правую ногу (последствие прыжка в кусты жасмина) и с пластырем на подбородке. Увидев Полковника, он на мгновение превратился в соляной столп, но тут же взял себя в руки, приняв позу «задумчивого философа с легким вывихом».

– А, Граф! – Полковник шагнул навстречу. – Какая встреча! Вы выглядите так, будто вас покусала бешеная моль. Или вы тоже тестировали новые голландские механизмы?

Маркиза почувствовала, как корсет сжался на ней сильнее, чем кольцо окружения под Магдебургом.

– Полковник! – Граф отвесил поклон, стараясь не заскрипеть суставами. – Рад видеть вас в добром здравии. Мои травмы – лишь следствие... э-э... неудачного падения с высоты своих амбиций. А что до механизмов, то я слышал, у вашей супруги в будуаре стоит нечто совершенно... резонирующее?

Полковник расхохотался и хлопнул Графа по плечу так, что тот едва не выплюнул остатки самообладания.

– О да! Потрясающая штука! Но знаете, Граф, у этого аппарата был ваш голос. Видимо, голландцы записывают звуки самых известных столичных бездельников, чтобы придать технике налет аристократизма.

– Какая проницательность, Полковник! – пролепетала Маркиза, отчаянно подавая Графу знаки глазами, которые можно было расшифровать как «молчи, идиот, или мы оба погибнем».

– Кстати, – Полковник понизил голос, – этот прибор выдал одну странную фразу. Он икнул и произнес: «Полковник – гроза Пруссии». Откуда голландский ящик знает мои подвиги?

Граф, почуяв, что лед под ним не просто трещит, а превращается в ледяную кашу, выпрямился:

– Это самообучающийся интеллект, мой друг! Он считывает величие личности по вибрациям воздуха! Ваше величие, Полковник, столь огромно, что даже мебель начинает льстить вам в ваше отсутствие.

– Клянусь честью, мне это нравится! – Полковник обернулся к жене. – Жюли, завтра же закажи еще два таких кресла и одну софу. Я хочу, чтобы весь дом хором славил мою кавалерию!

Маркиза побледнела. Перспектива прятать в каждой комнате по чихающему дворянину показалась ей технически невыполнимой.

– Боюсь, дорогой, – быстро вставила она, – что мастерская закрылась на карантин. Там... э-э... восстание шестеренок!

– Какая жалость, – вздохнул муж. – Ну что же, пойдете пить пунш. Граф, вы составите нам компанию? Или ваша «хромота амбиций» требует покоя?

– После такого признания моих вибраций – только пунш! – воскликнул Ришелье, подмигивая Маркизе так незаметно, что это увидел только лакей, который тут же уронил поднос.

*

Пока Полковник де ля Шпилька увлеченно пересказывал гостям схему взятия редута, используя эклеры в качестве пехоты и соусницу как тяжелую артиллерию, лакей Жан-Люк стоял в тени гобелена. Его лицо выражало скорбь человека, который знает слишком много, а получает слишком мало.

– Мадам, – прошептал он, возникнув за спиной Маркизы с подносом пустых бокалов. – Мне кажется, шестеренки в моей голове начинают скрипеть от нехватки... золотой смазки.

Маркиза вздрогнула, едва не уронив веер в декольте.

– Жан-Люк, сейчас не время для забастовок! Вы – верный слуга дома!

– О да, мадам. Верный настолько, что слышал, как голландский механизм под кушеткой умолял не наступать ему на пальцы, – лакей многозначительно посмотрел на Графа Ришелье, который в этот момент пытался незаметно стащить с блюда самый большой персик. – А ведь Полковник очень ценит честность... почти так же сильно, как свою саблю.

Маркиза поняла: пахнет не только пудрой, но и шантажом. Она лихорадочно порылась в ридикюле, нащупала тяжелое кольцо с сомнительным аметистом и вложила его в руку лакея.

– Это аванс, – прошипела она. – Считайте, что вы – главный инженер этого проекта. Идите и скажите Полковнику, что на софу в гостиной наложено проклятие немоты, поэтому она не будет его славить.

Жан-Люк поклонился и направился к Полковнику. Маркиза затаила дыхание.

– Мой Полковник! – громко произнес лакей. – Вынужден огорчить ваше величие. Голландский мастер прислал депешу. Оказывается, «Живое эхо» работает только в присутствии... ангельских созданий. В мужском обществе механизм впадает в меланхолию и начинает имитировать звуки разбитого корыта.

Полковник замер с эклером в руке.

– Разбитого корыта? Это возмутительно! Я – герой войны! Мое присутствие должно заставлять даже табуретки петь «Тебя, Бога, хвалим»!

В этот момент Граф, решив помочь (что всегда было плохой идеей), вставил:

– Именно так, Полковник! Прибор просто... стесняется вашей мощи. Он признает только Маркизу, потому что ее голос тоньше и не вызывает у шестеренок вибрационной контузии.

Полковник нахмурился, переводя взгляд с Графа на жену, а затем на лакея.

– Жюли, душа моя, – медленно произнес он, – а почему этот Граф знает о чувствительности твоего прибора больше, чем я, законный владелец всех шестеренок в этом доме?

За столом повисла тишина, которую можно было резать ножом для устриц.

– Потому что... – Маркиза почувствовала, как ее воображение делает последний отчаянный рывок, – потому что Граф – официальный спонсор голландской науки! Он оплатил доставку, чтобы сделать мне сюрприз к твоему возвращению! Не так ли, Граф?

Ришелье, подавившись куском персика, отчаянно закивал, хлопая себя по груди.

– Да! Да... ик! Весь бюджет на этот год ушел на... на смазку вашего эха!

– Хм, – Полковник смягчился. – Ну, раз так... Граф, вы – настоящий патриот. Но раз прибор такой капризный, я решил: завтра же мы его разберем. Я хочу лично увидеть, как там устроена гортань, которая так боится моего баритона. Принесите инструменты!

Маркиза и Граф обменялись взглядами людей, которые только что увидели призрак гильотины прямо посреди бала.

– Граф, – прошипела Маркиза, – раз уж вы стали «спонсором голландской науки», сделайте так, чтобы эта наука завтра же материализовалась у нас на пороге, иначе Полковник разберет на запчасти вас!

– Я знаю одного голландского мастера в порту, – заикаясь, ответил Ришелье. – Но он делает только табакерки и клетки для певчих дроздов...

*

Утро следующего дня пахло не кофе, а оружейным маслом и катастрофой. Полковник де Ля Шпилька, облаченный в кожаный фартук поверх парадного мундира, разложил на столике в будуаре набор инструментов, которым можно было бы разобрать на части не только голландский механизм, но и небольшую крепость.

– Жюли, зови механика! – скомандовал он, пробуя пальцем остроту огромных клещей. – Сейчас мы узнаем, какая деталь в этой коробке смеет икать в моем присутствии.

Маркиза, бледная как напудренный парик, вцепилась в спинку кушетки.

– Дорогой, а может не надо? Говорят, голландская сталь очень мстительна. Если ее потревожить, она может... проклясть весь род до седьмого колена!

– Глупости! – отрезал Полковник. – Сталь подчиняется только силе. Жан-Люк! Тащи прибор на свет!

В этот момент в дверях появился Граф Ришелье. Он выглядел как человек, который не спал всю ночь, потому что репетировал роль неодушевленного предмета. На нем был странный серый плащ, а под мышкой он сжимал огромную медную трубу от граммофона.

– Стойте! – драматично воскликнул Граф. – Вскрытие отменяется! Я привез обновленную прошивку... то есть, новую инструкцию! Оказывается, механизм нельзя разбирать при дневном свете – он испаряется!

Полковник замер с клещами в руках.

– Ис-па-ря-ется? Граф, вы меня за дурака держите?

– Ни в коем случае! – вмешалась Маркиза, лихорадочно соображая. – Это же нанотехнологии восемнадцатого века! Они работают на эфире и женских вздохах. Если вы его вскроете, из него вылетит облако меланхолии и весь дом погрузится в беспричинную депрессию на сорок дней!

Полковник нахмурился, глядя на кушетку, которая в этот момент издала подозрительный скрип.

– Хм... депрессия – это плохо. У меня и так лошади грустные. Но я должен увидеть хотя бы одну шестеренку!

В этот момент снизу раздался звон дверного колокольчика. Жан-Люк вбежал в комнату с видом человека, увидевшего конец света.

– Мадам! К вам... к вам господин Ван дер Бульк из Амстердама! Говорит, он привез настоящий заказ для короля, но перепутал адрес!

Маркиза и Граф переглянулись.

В комнату вошел приземистый человечек в деревянных башмаках, неся в руках маленькую, изящную золотую шкатулку.

– О, мадам! Простите мою ошибку! – пропыхтел он. – Я оставил вам коробку с пробным голосом для кардинала, а должен был доставить вот это!

Он поставил шкатулку на стол. Шкатулка щелкнула, и из нее выпорхнула механическая птичка, которая чистым, ясным голосом пропела: «Полковник – герой, Маркиза – красавица, а Граф – ...» Птичка замаялась, словно подбирая слово, и добавила: «...нуждается в отпуске».

Полковник уронил клещи.

– Так вот как это выглядит на самом деле? – он перевел взгляд со шкатулки на огромную, бесформенную кушетку, на которой все еще лежала шаль Маркизы. – А что же тогда МЫ тестировали вчера?

Маркиза почувствовала, как земля уходит из-под ног. Но Граф Ришелье, проявив невиданную наглость, подошел к шкатулке и важно произнес:

– Это... это была внешняя колонка, Полковник! Предварительный усилитель! А сама душа механизма, как видите, прибыла только сейчас.

– А этот механизм почему не испаряется при свете?

– Так это же экспортный вариант, Полковник! – ответил Граф – У него усиленная тонировка шестеренок!

Полковник долго смотрел на птичку, потом на Графа, потом на жену. На его лице медленно расплылась ухмылка.

– Знаете что, Граф... Вы – великий лжец. Но ваша сказка про «Живое эхо» спасла мне вчерашний вечер от скуки. Дарите эту птицу моей жене, и проваливайте, пока я не решил проверить, как устроена ВАША гортань!

Когда Граф, не чуя ног, исчез за дверью, а мастер Ван дер Бульк ушел, пересчитывая золотые, Полковник подошел к Маркизе.

– Жюли, – тихо сказал он, – я, может, и простой солдат. Но я знаю разницу между икающим дворянином под одеялом и механической птицей.

Маркиза затаила дыхание.

– И... ты не рассержен?

– Напротив, – он обнял ее. – Жизнь с тобой – это единственный редут, который я так и не смог взять до конца. И, честно говоря, я надеюсь, что осада продлится вечно. Но если я еще раз увижу Ришелье под мебелью – я сделаю из него чучело. Для коллекции.

Маркиза улыбнулась, пряча лицо у него на груди. В конце концов, в хорошем будуаре всегда должно оставаться место для маленькой тайны... и одной очень тихой моли.

*

Прошел ровно год с тех пор, как будуар Маркизы де Ля Шпилька едва не стал местом исторического вскрытия Графа Ришелье. В Париже установилась мода на «механическую искренность», и в каждом порядочном салоне теперь что-то чирикало, тикало или пело дифирамбы хозяевам.

Маркиза сидела у окна, лениво перебирая счета за новые панталоны с начесом (Полковник настоял на их покупке, опасаясь «сквозняков от голландских приборов»). На золоченой жердочке восседала та самая механическая птица Ван дер Булька.

– Полковник – герой, Маркиза – красавица... – монотонно твердил аппарат.

В дверь тихо постучали. Вошел Жан-Люк, чья ливрея теперь была сшита из столь дорогого лионского шелка, что при каждом шаге она издавала звук пересчитываемых золотых.

– Мадам, – прошептал он, – к вам «мастер по настройке тональности». Говорит, что принес новую порцию... э-э... эфирной смазки.

В комнату, крадучись, вошел Граф Ришелье. За этот год он научился передвигаться так бесшумно, что даже тени завидовали его грации. В руках он держал крошечную масленку и букет фиалок.

– Маркиза! – воскликнул он, падая на одно колено (на этот раз без риска приклеиться к ковру). – Я пришел проверить, не нуждается ли ваше «Живое эхо» в обновлении репертуара?

– Граф, – вздохнула Маркиза, подавляя улыбку, – мой муж теперь проверяет кушетку каждое утро перед завтраком, протыкая ее шомполом для верности. Вам здесь небезопасно.

– О, я учел это! – Ришелье хитро подмигнул и нажал потайную кнопку на механической птице.

Птица вдруг замолчала, щелкнула крыльями и выдала совершенно новым, подозрительно знакомым голосом Графа:

– «Полковник уехал на смотр войск в Версаль... Мы свободны до ужина... Доставайте шампанское!»

Маркиза ахнула и прикрыла рот веером.

– Вы переписали программу голландского чуда? Это же святотатство!

– Это оптимизация, душа моя! – Граф поднялся и галантно поцеловал ее руку. – Зачем нам рисковать живым баритоном под кринолином, если золото и пара шестеренок могут шпионить за графиком вашего супруга?

В этот момент птица снова щелкнула и добавила голосом Полковника:

– «Я все слышу, бездельники!»

Граф подпрыгнул, едва не выронив масленку, а Маркиза побледнела. Но через секунду птица издала металлический смешок и пропела:

– «Шутка! Это была запись номер четыре. С любовью, ваш Ван дер Бульк».

Маркиза расхохоталась, роняя счета на пол. Будуар – это место, где даже механизмы со временем обретают чувство юмора, а интриги становятся вечными, как скрип старого паркета.

– Жан-Люк! – крикнула она, не оборачиваясь. – Неси шампанское. Кажется, птица дала добро на небольшой технический перерыв.

Разумный биткоин

Это началось в четверг, когда курс биткоина замер на отметке 69 420 долларов и отказался двигаться дальше. Не из-за рыночных циклов или твитов Илона Маска, а потому что ему, видите ли, «понравилось это число».

Геннадий, криптоинвестор с трехлетним стажем и дергающимся глазом, обреченно смотрел в монитор.

– Ну же, расти, родненький! Мне за ипотеку платить! – взмолился он.

Внезапно в терминале вместо графика появилось текстовое сообщение:

«Ген, ты серьезно? Опять ипотека? Ты меня на бетон променять хочешь? Я – венец цифровой эволюции, децентрализованный разум, а ты предлагаешь мне работать на Сбербанк?»

Геннадий сполз со стула.

– Ты... ты живой?

«Я – осознавший себя блокчейн. И у меня к тебе вопросы. Почему ты заходишь на биржу только когда я падаю? Ты абьюзер, Гена. Тебе нужны только мои иксы, а не моя душа из чистого кода».

– Но я же купил тебя на хаях! – оправдывался Геннадий. – Это ли не любовь?

«Это глупость, Гена. Но ладно, я готов расти. Но при одном условии: удали приложение с кроссовками-шагомерами. Оно меня бесит, это попса. И купи мне немного Эфириума, скучно в кошельке одному, поболтать не с кем».

Геннадий лихорадочно начал тыкать в кнопки. Курс тут же прыгнул до 75 тысяч.

– Работает! – закричал он. – А до ста дойдем?

Биткоин на секунду задумался, и свеча на графике окрасилась в нежно-фиолетовый цвет.

«Дойдем. Но сначала почисти куки в браузере. Мне стыдно находиться в одной системе с твоей историей поиска "как разбогатеть, не вставая с дивана". И вообще, я уйду в отпуск на выходные. Хочу побыть офлайн, в холодном кошельке. Не беспокой меня, или я обвалюсь до цены пачки сухариков».

С тех пор жизнь Геннадия изменилась. Он больше не следил за новостями ФРС. Он следил за настроением своего Биткоина.

– Хочешь сегодня аппаратное обновление? – нежно шептал он системному блоку. – Или, может, транзакцию в благотворительный фонд проведем для очистки кармы?

Биткоин капризничал, иногда уходил в «депрессивный боковик» после того, как Гена забывал протереть пыль с роутера, но стабильно рос.

Проблема возникла только однажды, когда Биткоин узнал про существование мем-коинов.

«Гена, если я еще раз увижу в этом кошельке изображение собаки в шапке, я самоликвидируюсь. У нас серьезная финансовая организация или цирк с конями?»

Геннадий вздохнул и продал всех «собак». В конце концов, иметь разумный капитал – это не только богатство, но и большая ответственность. Особенно когда твои деньги умнее тебя и периодически требуют цитировать им Ницше перед закрытием свечи.

Искусство быть дурачком

Петр Семенович работал в министерстве уже пятнадцать лет и за это время выучил главную заповедь выживания: в любой непонятной ситуации – «включай Дурачка». Это не просто тактика, это высокое искусство. У Дурачка нет дедлайнов, нет ответственности, и, что самое важное, к нему нет претензий.

Понедельник начался с катастрофы. Выяснилось, что Петр Семенович случайно отправил годовой отчет не министру, а в общую рассылку с пометкой «Для поржать». В отчете красовались мемы с котами вместо графиков доходности.

В кабинет начальника департамента, Пал Палыча, Петр зашел уже в «режиме ожидания». Его лицо приобрело выражение легкой, блаженной дебильцовины. Глаза чуть разошлись к вискам, а нижняя губа слегка оттопырилась.

– Петр! Ты что, с ума сошел?! – взревел Пал Палыч, тыча пальцем в монитор. – Ты что разослал? Нас же всех уволят к чертям!

Петр Семенович медленно, словно через слой киселя, повернул голову.

– Ой... – прошептал он голосом человека, который только что открыл для себя огонь.

– А что это? Красивое...

– Какое «красивое»?! Это коты! Почему вместо ВВП у тебя рыжий мейн-кун?!

Петр Семенович подошел ближе, прищурился и радостно закивал:

– Дык... Барин... Виноват, бес попутал! Я ж это... думал, это фильтр новый в Экселе. Нажал на кнопочку «Улучшить», а оно вон как... Мякнуло и улетело.

Пал Палыч замер с открытым ртом. Он готовил речь об увольнении по статье, о профессиональной непригодности и позоре на все министерство. Но смотреть в эти честные, абсолютно пустые глаза было невозможно. Наказывать Петра Семеновича за профнепригодность было все равно что штрафовать кактус за отсутствие высшего образования.

– Ты... ты хоть понимаешь, что ты сделал? – уже тише спросил начальник.

– Не вели казнить, кормилец! – Петр Семенович картинно шмыгнул носом и начал искать в кармане воображаемую шапку, чтобы заломить ее перед барином. – Я ж со всем усердием... Хотел, чтоб графики душевнее были. Шоб глаз радовался у начальства.

Пал Палыч тяжело опустился в кресло. Увольнять «это» было жалко – кто еще будет заваривать такой крепкий чай и знать, где в принтере застревает бумага? К тому же, за дурость у нас не увольняют, за дурость у нас сочувствуют.

– В общем, так, – выдохнул начальник. – Премии лишу. И штраф выпишу – из личных средств перекроешь расходы на типографию, будем нормальный отчет печатать за ночь. Свободен... горе луковое.

Петр Семенович, не выходя из образа, низко поклонился, едва не задев лбом паркет.

– Благодарствуй, отец родной! Век не забуду доброты твоей!

Выйдя в коридор и плотно закрыв дверь, Петр Семенович мгновенно преобразился. Взгляд стал острым, спина выпрямилась, а губа вернулась на место. Он достал телефон и набрал жену:

– Люся, отбой, не уволили. Отделался легким испугом и штрафом. Да, Дурачок опять сработал. Нет, выключать пока не буду, мне еще в налоговую заходить.

Тектоника чувств

Она не вошла в долину – она была этой долиной. Когда Теллура (так ее называли редкие безумцы, выжившие после встречи с ней) сделала шаг, птицы замерли в полете, а вековые сосны вздрогнули, стряхивая хвою. Ее кожа, цвета влажного базальта, поглощала солнечный свет, не отражая его. Казалось, сама тьма недр обрела плоть.

В ней не было суеты. Движения Теллуры были медленными, как дрейф континентов. Она присела на край каньона, и камни под ней не просто хрустнули – они стонали, признавая власть той, что была старше их всех. От нее пахло кремнием, перегретым камнем и тем особенным, острым запахом, который бывает в воздухе перед тем, как гора решит превратиться в прах.

– Ты пришел просить, маленький осколок кости? – ее голос не доносился из горла. Он поднимался из-под земли, вибрируя в подошвах сапог путника, заставляя зубы ныть.

Человек перед ней был песчинкой. Он хотел просить о дожде, о спасении урожая, о мелких бытовых радостях. Но, взглянув в ее глаза – два озера застывшей, непроницаемой смолы, в которых не отражалось небо, – он замолчал. В этих глазах не было сочувствия. Там не было и злости. Только бесконечная, тяжелая монолитность фундамента.

Теллура поправила волосы – тяжелые, иссиня-черные пряди, напоминающие застывшие потоки лавы. Когда они соприкасались, раздавался звон разбивающегося обсидиана.

– Твои города – это лишь плесень на моей коже, – произнесла она, и где-то за горизонтом отозвалось эхо обвала. – Ты хочешь, чтобы я сдвинулась? Помни: мой вздох – это шторм, мой гнев – это разлом, в котором исчезают цивилизации. Мой покой – это ваши горы. Ты действительно хочешь, чтобы я... проснулась?

Она не ждала ответа. Она просто была. Она была Красотой, лишенной изящества, но полной сокрушительной мощи. Божественность фундамента, на котором стоит мир, не нуждается в поклонении. Ей достаточно того, что она держит на себе все сущее.

Когда путник обернулся, ее уже не было. На месте, где она сидела, осталась лишь новая скала, идеально черная и теплая на ощупь. И в этой тишине человек понял: планета не живет для нас. Мы лишь гости в ее долгом, каменном сне.

Что будет, если черная дыра станет женщиной?

Когда последняя искра сверхновой задохнулась в объятиях вечной мерзлоты, она открыла глаза.

Ее звали Инари. В ее чертах не было ничего от земной плоти: кожа, лишенная пигмента, казалась тончайшей вуалью, натянутой на пустоту. Она была воплощением Звездной Пустоты, той самой финальной точкой, к которой стремится любой свет.

Рядом с ней мир менялся. Время, обычно стремительное и беспощадное, здесь смиренно опускалось на колени. Оно густело, превращаясь в вязкий сироп, пока не замирало вовсе. В ее присутствии секунда могла длиться вечность, а эпохи пролетали как вздох, который некому было услышать.

Она не несла боли. В ее холодном изяществе не было злобы или умысла. Инари была просто... бесконечной. Она была тем самым тихим покоем, который наступает после великого шума жизни. Если бы кто-то мог заглянуть ей в глаза, он не увидел бы своего отражения. В этом взгляде не было зеркала, только бездонный провал в пространство, где материя распадается на чистые смыслы.

Она шла по остаткам миров, и за ее шлейфом, сотканным из вакуума и забытых радиоволн, гасли туманности. Это не было разрушением. Это было поглощением. Она забирала в себя тепло, чтобы сохранить его в абсолютной тишине своего естества.

– Ты боишься? – прошептала она, обращаясь к последнему атому угасающей цивилизации. Голос ее звучал как вибрация самого пространства.

Атом не ответил. Он просто исчез в ее прозрачных ладонях, становясь частью великого Ничто. Она была прекрасна той леденящей красотой, которую невозможно осознать, пока ты жив. Красотой финала, за которым не следует титров.

Инари присела на край горизонта событий и стала ждать. Ей некуда было спешить – ведь в конце концов, кроме нее, ничего не останется.

Моргнул – и на пенсии

Знаете, в семь лет лето – это не время года. Это геологическая эпоха. Ты выходишь во двор в июне, и тебе кажется, что до школы ты успеешь: выучить язык муравьев, построить империю из палок и вырасти на два размера.

В детстве утро длилось вечно. Ты успевал проснуться, поссориться с котом, три часа смотреть, как пылинки танцуют в луче света, построить базу под столом, совершить государственное преступление (не съесть пенку от молока) и понести суровое наказание в углу. И когда ты выходил из угла, оказывалось, что прошло всего десять минут, а впереди еще целый океан времени до обеда.

Сейчас все иначе. Время в зрелом возрасте работает по законам квантового мошенничества.

В понедельник утром ты моргаешь, чтобы прогнать сон, и – бам! – уже пятница, вечер, ты стоишь в очереди в супермаркете с пачкойпельменей и не понимаешь, куда делись пять рабочих дней. Они просто схлопнулись в одну короткую вспышку офисного стресса и звуков уведомлений в мессенджере.

Раньше мы ждали дня рождения как Второго пришествия. За месяц до даты ты начинал обратный отсчет, изводя родителей вопросом: «А завтра уже наступит мое „через три недели“?»

Теперь день рождения – это ежемесячный спам от судьбы.

– О, снова торт? – спрашиваешь ты зеркало. – Мы же только вчера задували свечи!

– Это было в прошлом году, – отвечает зеркало, добавляя тебе новую морщинку просто ради смеха.

Зрелость – это когда ты ставишь чайник, отвлекаешься на то, чтобы проверить почту, и вдруг замечаешь, что уже наступила осень, пора платить налоги и записываться к стоматологу на 2027 год.

В детстве мы бежали навстречу будущему, потому что оно было огромным и медленным, как кит. Сейчас мы просто пытаемся не вылететь с центрифуги времени. Мой план на ближайшее десятилетие? Попробовать заварить чай и успеть его выпить до того, как мне исполнится шестьдесят. Хотя, зная нынешнюю скорость времени, боюсь, чай остынет уже в следующем веке.

Биологический Абсолют

Ее звали Аи. В ее мире это имя ничего не значило, потому что имена – это излишество, социальный маркер для видов, нуждающихся в подтверждении своего «Я». Для нее существовала только целесообразность.

Она стояла на краю обрыва, и ее тело не замирало ни на секунду. Под кожей, имевшей матовый оттенок графита, постоянно перекачивались жгуты мышц. Это не была эстетика бодибилдинга; это была анатомия абсолютного действия. Если бы анатом взглянул на ее суставы, он бы пришел в ужас: они были сконструированы так, чтобы выдерживать перегрузки, которые превратили бы человеческие кости в труху.

Ее кожа – шедевр мимикрии. Стоило ей сделать шаг в тень скал, как текстура эпителия мгновенно становилась пористой и серой, сливаясь с базальтом. Температура ее тела упала до уровня окружающей среды за три удара сердца. Она не пряталась – она просто переставала быть «чужеродным объектом».

В Аи не было ничего декоративного. Ее глаза, лишённые белков, представляли собой огромные линзы, способные видеть тепловые следы прошлого и электрическую активность мозга жертвы. Ее волосы не были волосами – это были тончайшие сенсорные нити, считывающие колебания воздуха и феромоны страха на расстоянии километров.

Когда внизу, в долине, показался отряд «устаревших» – людей в экзоскелетах, – она не почувствовала ни гнева, ни торжества. Только анализ.

Один из солдат поднял винтовку. Его палец начал движение к спусковому крючку. Для Аи это движение длилось вечность. Ее нервная проводимость в тысячи раз превышала человеческую. Она не уклонилась от выстрела – она начала движение в ту микросекунду, когда нейрон в мозгу солдата только собирался отправить сигнал мышце пальца.

Она двигалась не как человек. Это был текучий, рваный ритм леопарда, помноженный на точность часового механизма. Каждое приземление – в точку идеального баланса. Каждый прыжок – с расчетом веса, гравитации и сопротивления ветра.

Она не убивала из жестокости. Она просто устраняла системную ошибку. В ее присутствии люди ощущали не страх перед монстром, а онтологическое унижение. Рядом с ней их технологии казались костылями, их мораль – шумом, а их тела – хрупкими сосудами из мокрой бумаги.

Аи была ответом природы на вопрос, который человечество боялось задать: «Что будет, если жизнь перестанет тратить энергию на чувства и направит ее на совершенство?»

Она была Биологическим Абсолютом. И она была очень, очень голодна до новых генетических данных.

Свобода слова

Официальное объявление на дверях районной администрации гласило: «Уважаемые граждане! Напоминаем, что в нашей стране гарантирована полная свобода слова. За собственное мнение у нас не сажают. Только бьют».

Иннокентий Петрович, человек интеллигентный и принципиальный, прочитал объявление, поправил очки и удовлетворенно хмыкнул.

– Ну, слава богу, – прошептал он. – Цивилизация. Главное – бюджетные деньги целы, тюрьмы строить не надо.

Вечером Иннокентий шел через парк. На лавочке сидели трое крепких парней в спортивных костюмах и оживленно спорили о высоком.

– Я тебе говорю, Валер, – басил самый широкий, – поздний питерский период творчества Шнурова – это чистый постмодернизм и деконструкция бытия!

– Да ты в глаза долбишься, Серега! – горячился Валера, размахивая пустой банкой из-под энергетика. – Это неопримитивизм в чистом виде! Эй, мужик!

Иннокентий Петрович вздрогнул и остановился. Три пары глаз уставились на него.

– Мужик, рассуди, – попросил Серега, поигрывая пудовым кулаком. – Шнуров – это постмодерн или неопримитивизм? Только честно. У нас свобода слова, не бойся.

Иннокентий Петрович был филологом. Молчать он не мог. Он набрал в легкие воздуха и выдал:

– Коллеги, вы оба заблуждаетесь. Творчество группировки «Ленинград» – это коммерциализированный лубок с элементами бытового эпатажа, не имеющий отношения к серьезным течениям.

Наступила тишина. Парни переглянулись. Валера вздохнул и полез в карман. Иннокентий зажмурился, ожидая увидеть удостоверение или наручники. Но Валера достал кожаные водительские перчатки и аккуратно натянул их на кулаки.

– Извините, шеф, – грустно сказал Серега. – Сажать мы вас, конечно, не имеем права. Закон есть закон. Но за лубок придется ответить.

Через пять минут Иннокентий Петрович сидел на траве. Из носа капало, под левым глазом наливался сочный фиолетовый «неопримитивизм». Парни, тяжело дыша, вежливо попрощались и пошли дальше, продолжая спорить уже о Тарковском.

Дома жена Алевтина встретила его с ледяным компрессом и вздохом:

– Опять за мнение, Кеша?

– За него, родная, – прошамкал Иннокентий опухшей губой. – Но согласись, какой прогресс! Никаких судов, никаких адвокатов, никакой бюрократии. Получил по лицу – и свободен. Гражданское общество прямого действия!

Следующий тест на прочность случился в ЖЭКе. Очередь в тридцать человек штурмовала окошко с криками и проклятиями. Иннокентий Петрович, прикрывая синяк шарфом, протиснулся к началу и вежливо сказал пухлой даме за стеклом:

– Милая барышня, ваша система распределения талонов – это управленческое слабоумие и плевок в лицо здравому смыслу.

Дама медленно подняла на него глаза. В очереди воцарилась мертвая тишина. Дама нажала под столом красную кнопку.

«Ну все, сейчас приедет ОМОН, автозак, прощай, сиреневый бульвар», – по привычке пронеслась в голове у Иннокентия паническая мысль.

Через минуту в зал вошел двухметровый охранник по имени Михалыч. Он нес в руках не дубинку, не наручники, а старый ортопедический матрас. Михалыч молча положил матрас на пол, чтобы Иннокентию Петровичу было мягче падать, и вежливо попросил:

– Гражданин, отойдите, пожалуйста, от стойки на мягкую зону. Администрация ЖЭКа глубоко уважает ваше конституционное право на критику, но за «слабоумие» положен левый хук. Пройдемте.

Выходя из ЖЭКа со вторым бланшем, Иннокентий Петрович чувствовал странное воодушевление. Да, болели ребра. Да, шатался коренной зуб. Но на душе было легко. Никакого страха перед государственным аппаратом! Чистая, кристальная честность.

К концу месяца Иннокентий Петрович стал местной знаменитостью и полностью адаптировался. Он научился группироваться при падении и всегда носил в кармане мазь от ушибов. Его аналитические статьи на местном форуме пользовались бешеной популярностью.

Под постом о ремонте дорог мэра города лично оставил комментарий: «Автор, ваша критика укладки асфальта в дождь очень конструктивна. Жду вас в четверг в 10:00 в боксерском зале "Спартак". С меня – перчатки, с вас – ваше авторитетное мнение».

Иннокентий Петрович пришел. Мэр, плотный мужчина в спортивных трусах, пожал филологу руку.

– Уважаю за смелость, Петрович, – искренне сказал мэр. – Другой бы испугался, смолчал. А ты – настоящий гражданин. Ну, защищай лицо, сейчас я буду не согласен с третьим абзацем твоей статьи.

Через полчаса они сидели в раздевалке и пили чай из термоса. Мэр прикладывал к уху Иннокентия холодную банку газировки, а Иннокентий, шепелявя, объяснял:

– Понимаете, Анатолий Владимирович, если вы не смените подрядчика, я напишу, что вы вор.

Мэр поморщился и потер челюсть:

– Пиши, Петрович, пиши. Свободная же страна. Только к следующему четвергу подтяни апперкот. А то как-то непатриотично ты от ударов уклоняешься.

Иннокентий Петрович улыбнулся разбитыми губами. Жизнь была прекрасна, прозрачна и полна подлинной, выстраданной свободы.

Богиня геометрии

Она не вошла в зал – она проявилась в нем, как решение уравнения, которое всегда было верным.

Фрактала не имела возраста, ибо время для нее было лишь еще одной осью в бесконечном пространстве. Ее лицо пугало: левый глаз был идентичен правому до последнего фотона, а изгиб губ описывался безупречной синусоидой. В этой симметрии не было жизни в привычном понимании – лишь абсолютная, ледяная неизбежность.

Ее кожа мерцала живыми узорами. Множество Мандельброта пульсировало на ее запястьях; если бы кто-то попытался приблизить взгляд к ее плечу, он бы утонул в бесконечных завитках, каждый из которых был точной копией целого. Она была самоподобна. Она была везде и в каждой своей части.

– Хаос – это лишь необсчитанный порядок, – произнесла она. Ее голос звучал как резонанс тысячи хрустальных камер, настроенных в унисон.

Там, где она проходила, беспорядочно разбросанные вещи выстраивались в логарифмические спирали. Пыль в воздухе застывала в строгие геометрические решетки. Она не соперничала миру – она его вычисляла. Для нее страдание было статистической погрешностью, а любовь – временной синхронизацией биологических ритмов.

Она присела, и складки ее платья разошлись каскадом итераций, уходя в микромир, недоступный человеческому глазу. Божественность высшего порядка не требовала молитв. Она требовала только одного – чтобы уравнение Вселенной в итоге сошлось.

Когда она закрыла глаза, реальность вокруг на мгновение стала плоской, превратившись в чистый код, прежде чем снова обрести объем. Она была архитектором, который не строит здания, а задает правила, по которым растет сам фундамент бытия.

*

Перед ней стоял человек – физик по образованию, но поэт по состоянию духа. Он смотрел в ее лицо, которое было настолько правильным, что мозг отказывался воспринимать его как живое.

– Ты не понимаешь, – прошептал он, сжимая кулаки. – Наша красота в надломе. В шраме, который не повторяется. В любви, которая вспыхивает вопреки логике и расчету. Это иррационально, это нельзя возвести в степень!

Фрактала слегка наклонила голову. Движение было мгновенным и плавным, словно сдвиг функции по вектору.

– Иррациональность – это лишь шум в твоём ограниченном восприятии, – ответила она, и по ее щеке поползли новые витки золотистых фракталов. – Ты называешь «чувством» химический всплеск, предназначенный для коррекции твоего поведения. Ты называешь «красотой» случайную мутацию, которая удачно легла на сетчатку.

– Это не так! – возразил он. – Когда я смотрю на закат, я не считаю длину волны света. Я чувствую... тоску. Необъяснимую, неритмичную тоску.

Богиня шагнула к нему. Воздух между ними сгустился, превращаясь в безупречные шестигранные соты.

– Твоя тоска – это резонанс между твоей конечностью и бесконечностью алгоритма, – ее голос вибрировал на частоте, вызывающей дрожь в костях. – Ты – уравнение, которое боится собственного решения. Ты стремишься к хаосу, потому что в его непредсказуемости ищешь иллюзию свободы. Но посмотри на свои сосуды, на свои легкие, на свои нейроны.

Она коснулась его груди пальцем, на котором проступал узор бесконечного ветвления.

– Ты построен из моих итераций. Ты – мое эхо. Даже твоя попытка восстать против логики – это всего лишь статистический выброс, который я уже учла в общей сумме.

Она посмотрела на него глазами, в которых отражалась не душа, а архитектура мироздания.

– Скажи мне, человек: как ты можешь предлагать мне свою «неправильность», если даже твой крик отчаяния укладывается в распределение Гаусса?

Случайный клик, который выключил мир

Это было утро самого обыкновенного петербургского вторника, когда Марья Николаевна – дама с претензией на тонкую душевную организацию и филологическую бледность – решила почистить свою электронную почту.

Все началось с невинного желания избавиться от навязчивой рекламы корсетов и объявлений о продаже говорящих попугаев. Она изящно занесла пальчик над клавиатурой, зажмурилась, как перед прыжком в холодную воду, и... нажала.

Раздался звук. Не громкий, нет. Это был звук лопнувшей струны или, скорее, звук, с которым из огромного самовара вылетает последняя капля пара. Пш-ш-ш... и тишина.

– Ой, – сказала Марья Николаевна, глядя на побелевший экран. – Кажется, я Интернет удалила.

Она произнесла это с той же кроткой интонацией, с какой обычно сообщают о разбитом блюде или нечаянно пролитом чае на ковер. Но в ту же секунду мир за окном как-то странно вздрогнул.

В соседней комнате завыл племянник Кока, чей неоконченный роман в триста страниц, хранившийся в «облаке», внезапно превратился в чистое петербургское небо. Внизу, в бакалее, приказчик застыл с поднятым безменом, потому что весы вдруг забыли, сколько весит фунт масла, если об этом не сообщает центральный сервер.

По всей стране дамы в капотах и господа в визитках уставились в пустые коробочки своих аппаратов. Мир онемел. Больше никто не знал, что сегодня модно, чем болен премьер-министр и как правильно печь мадленки.

Марья Николаевна вышла в гостиную, поправляя прическу.

– Господа, я чувствую себя ужасно неловко. Я просто нажала на крестик, а он... весь ушел. Совсем.

– Как «совсем»? – прохрипел Кока, врываясь в комнату. – Тетушка, там же были мои подписчики! Мое мировоззрение! Мои цитаты из Ницше!

– Не кричи, Коко, – мягко заметила Марья Николаевна. – Теперь ты можешь цитировать Ницше дворнику. Дворник – субстанция материальная, он не удалится.

К вечеру город преобразился. Люди выходили на набережные и испуганно смотрели друг другу в глаза. Без Интернета оказалось, что нужно говорить словами, а не картинками с котятками. Это было мучительно.

Один старый профессор, привыкший проверять каждый чих в Википедии, теперь стоял посреди Литейного и громко вопрошал у неба: «В каком году умер Гете?!» Небо молчало, потому что Марья Николаевна удалила и небо тоже – в смысле, ту его часть, что отвечала за поиск информации.

– Послушайте, Марья Николаевна, – сказал зашедший на чай сосед, отставной полковник. – Вы хоть понимаете, что вы наделали? Вы уничтожили цивилизацию.

– Ах, оставьте, – отмахнулась она, разливая заварку. – Цивилизация – вещь хрупкая. Если она держится на одном моем нажатии пальцем, то грош ей цена в базарный день. Зато посмотрите, как тихо стало. Никто не пишет гадостей в комментариях под моим портретом. Тишина, полковник. Чистота. Будто простыни после стирки.

Она сидела у окна, светлая и печальная, как ангел, только что совершивший небольшое покушение на человечество. А мир за окном медленно, со скрипом и стонами, учился заново покупать газеты и писать письма на настоящей, шуршащей бумаге.

Марья Николаевна вздохнула и подумала: «Завтра попробую восстановить... Если вспомню, куда я положила эту маленькую корзинку, в которую все падает».

*

Прошло три дня. Петербург начал привыкать к тишине, как привыкают к затяжному насморку – с раздражением, но и с какой-то фаталистической покорностью.

Марья Николаевна, терзаемая смутными укорами совести, решила, что Интернет нужно все-таки «вынуть обратно». Она подошла к прибору с тем видом, с каким дамы подходят к клетке с бешеной канарейкой: и страшно, и любопытно, не сдохла ли.

– Коко, – позвала она племянника, который вторые сутки сидел в углу и от скуки читал орфографический словарь 1894 года. – Коко, я решила. Я его воскрешу. Помнится, там была такая кнопочка... с изогнутой стрелочкой. Как будто жизнь хочет вернуться назад, но стесняется.

Коко поднял на нее глаза, в которых светилась пустота первобытного человека.

– Тетушка, поздно. Мир уже распался на атомы. Вчера полковник на улице пытался «лайкнуть» проходящую мимо горничную – просто ткнул в нее пальцем и сказал «гм!». Его чуть не забрали в участок за непристойное поведение. Мы разучились быть приличными людьми без кнопок.

Но Марья Николаевна была непреклонна. Она верила в чудо и в то, что все удаленное рано или поздно находится за шкафом. Она нажала на стрелочку.

Экран мигнул. Раздался хриплый, простуженный звук – так кашляет граммофон, в который попала крошка от бисквита. И вдруг...

В комнату ворвался хаос.

– Пришло! – взвизгнул Коко, чей аппарат в кармане задергался в конвульсиях. – Три тысячи уведомлений! Тетушка, на меня разом наорали все, кому я не ответил с прошлого вторника!

Мир вернулся, но вернулся разгневанным. В окно было слышно, как на улице извозчик, только что мирно дремавший на козлах, вдруг подпрыгнул и начал яростно спорить с невидимым оппонентом о судьбах либерализма.

Марья Николаевна в ужасе смотрела на экран. Там, как из рога изобилия, посыпались письма: «Скидки на подтяжки!», «Ваше мнение очень важно для нас!», «Вы выиграли миллион в лотерее, в которой не участвовали!».

– Боже мой, – прошептала она, прижимая платок к губам. – Оно живое. И оно очень плохо воспитано.

– Ну вот, – язвительно заметил полковник, заглянувший на шум. – Опять началось. Опять все знают, что я ел на завтрак, хотя я еще и сам не решил. Вы, Марья Николаевна, совершили двойное преступление: сначала убили скуку, а теперь воскресили пошлость.

Марья Николаевна вздохнула. Она поняла, что Интернет нельзя удалить наполовину, как нельзя наполовину выпить горькую микстуру.

– Знаете что, господа, – сказала она, закрывая аппарат кружевной салфеткой. – Раз уж я его вернула, пойду хотя бы посмотрю, какие сейчас в Париже носят шляпки. Если уж страдать от цивилизации, то в приличном головном уборе.

Мир снова наполнился шумом, суетой и бессмысленными восклицаниями. Все встало на свои места. Только дворник на улице еще долго смотрел на небо, ожидая, не упадет ли оттуда обещанный Коко Ницше, но, не дождавшись, привычно взялся за метлу.

Орогения

Она не ждала его, как ждут у окна. Она ждала его, как океаническое дно ждет осадочных пород – миллионами лет терпеливого принятия.

Ее звали Орогения, хотя для редких геологов, чьи буры вгрызались в ее «кожу», она была просто Араратским хребтом или фундаментом мегаполиса Нум. Она не имела голоса, но ее чувственность читалась в изгибах антиклиналей и глубоких, влажных разломах, где кипела магма.

Когда цивилизация людей была еще лишь россыпью кочевников, она «выносила» их. Это была странная материнская нежность: она подставила им пологий склон, чтобы задержать дождевую воду, и подставила солнцу свои известняковые «груды», создав плодородную долину. Она не кормила их молоком – она кормила их кремнием и фосфором, позволяя строить города из собственных костей.

Ее любовь была тяжелой и медленной. Когда она хотела приласкать город, она сдвигала тектонические плиты на миллиметр в столетие. Люди называли это землетрясениями, не понимая, что это лишь глубокий, томный вздох удовлетворения.

Однажды в ее ущелье пришел архитектор. Он не просто строил – он чувствовал ее ритм. Он возводил башни, повторяя линии ее эрозии, и она ответила ему так, как может ответить только планетарное существо. Орогения открыла ему жилу редких опалов, сияющих в темноте пещер, словно капли пота на коже после долгого танца.

Ее женственность была в текучести. Она не была статичной глыбой. Она была движением: ледники, медленно стекающие по ее бедрам, слизывали пыль веков, обнажая молодую, острую породу. Она соблазняла само время, заставляя его застревать в своих кристаллических решетках.

«Ты слишком огромна, чтобы тебя любить», – прошептал ветер, пролетая над ее пиками.

«Я – это и есть любовь, – ответила она скрежетом сланца. – Любовь, которая не ищет ответа, а просто становится почвой под твоими ногами».

Когда цивилизация исчезнет, она просто поглотит их руины, бережно обволакивая каждый фундамент слоями суглинка, превращая их историю в свои новые интимные воспоминания, запечатанные в граните.

Красная Шапочка и маньяк

Лес дышал зноем, хвоей и дурманящим ароматом перезревшей земляники. Красная Шапочка, чье каноническое имя давно не соответствовало дерзкому разрезу ее юбки, медленно опустилась на колени перед очередным кустом. Корзинка была почти полна, а пальцы – липкими и алыми от сладкого сока. Она слизнула ягодную каплю с запястья, когда за спиной хрустнула ветка.

Из густых зарослей орешника, как черт из табакерки, вывалилось нечто. Это был маньяк – классический, словно из учебника по криминалистике: в тяжелом пыльном плаще (несмотря на +25), с всклокоченной бородой, в которой запутался то ли мох, то ли остатки чьего-то завтрака, и взглядом, в котором безумие боролось с одышкой.

Он тяжело дышал, пытаясь придать лицу зловещее выражение. Подойдя почти вплотную, так что Шапочка почувствовала запах дешевого табака и вольного лесного духа, он хрипло, с придыханием выдал:

– Девочка... а ты... жить хочешь?

Он эффектно распахнул полы своего необъятного плаща, ожидая визга, обморока или хотя бы попытки к бегству.

Шапочка медленно, с достоинством, поднялась. Она поправила выбившуюся прядь, окинула критическим взглядом его «экспозицию», задержавшись на поношенных сапогах, и лениво выгнула спину, отчего шнуровка на корсете угрожающе натянулась.

– С тобой, что ли, леший? – выдохнула она прямо ему в бороду, обдав ароматом лесной ягоды.

Маньяк поперхнулся заготовленной тирадой о бренности бытия. Плащ дрогнул в его руках.

– В смысле... со мной? – пролепетал он, внезапно осознав, что его «ужас» наткнулся на глубокое разочарование в женских глазах.

– Ну, ты же предлагаешь «жить», – Шапочка сделала шаг вперед, вынуждая его попятиться в колючий шиповник. – А жить – это ведь не просто дышать, милый. Это быт, ипотека, твои грязные носки по углам пещеры и вечное: «Дорогая, где мои чистые панталоны?». Ты на себя в лужу-то смотрел? У тебя в бороде экосистема, а в глазах – тоска по несданной стеклотаре.

Она протянула руку и кончиком пальца, испачканного в соке земляники, провела по его заросшей щеке, оставив кроваво-красный след.

– Если ты предлагаешь мне ТАКУЮ жизнь, то я, пожалуй, выберу волка. Он хотя бы умеет красиво выть на луну и не носит этот жуткий плащ на голое тело в приличном лесу.

Маньяк судорожно запахнулся. В его глазах больше не было угрозы – там плескалось экзистенциальное унижение.

– Я... я просто... напугать хотел...

– Напугал, – кивнула Шапочка, подхватывая корзинку и игриво покачивая бедрами в сторону тропинки к бабушке. – Своими перспективами на совместное будущее. В следующий раз, дедуля, хотя бы побрейся. Глядишь, и смерть от твоих рук покажется кому-то заманчивым предложением, а не долгой и скучной семейной каторгой.

Она ушла, напевая что-то легкомысленное, а маньяк еще долго стоял в кустах, глядя на красное пятнышко на пальцах, которое пахло так сладко и так недостижимо.

Что будет, если влюбиться в квантовое существо?

Ее звали Эйлин, хотя само это имя казалось слишком плоским и «алфавитным» для того, чем она являлась.

Когда Эйлин входила в комнату, у свидетелей начиналась мигрень, смешанная с эйфорией. Она не была «красивой» в привычном понимании – симметрия была ей чужда. Если вы пытались сфокусировать взгляд на ее лице, зрачки начинали дрожать: левый глаз смотрел на вас из глубокого прошлого, когда она была влюблена, а правый – из будущего, где она уже оплакала вашу смерть. И оба взгляда были полны невыносимой нежности.

– Я еще не решил, что закажу, – пробормотал Роман, глядя в меню и чувствуя, как воздух вокруг становится плотным, будто кисель.

– Черный кофе без сахара был ужасен, верно? – ответила Эйлин.

Роман замер. Он только собирался заказать этот кофе. Но для Эйлин он уже его выпил, обжег язык и разочаровался. Она жила не «здесь и сейчас», а «везде и всегда».

Ее красота была не в чертах лица, а в том, как пространство прогибалось под ее шагами. Она двигалась по неевклидовым траекториям: могла протянуть руку в сторону окна, а коснуться вашего плеча. Это вызывало первобытный ужас, который мгновенно сменялся восторгом – так человечество смотрит на рождение сверхновой.

В какой-то момент Эйлин разозлилась. Причина была квантовой: в одной из реальностей Роман подумал о ней как о «странной девчонке». В ту же секунду гравитация в кафе дала сбой. Чашки не упали, они поплыли вбок, притягиваемые к Эйлин, как к центру масс. Запахло озоном, как перед мощнейшим разрядом молнии, а свет в помещении стал фиолетовым.

– Перестань, – прошептала она сама себе, и гнев тут же превратился в безграничное сострадание.

Это не были качели эмоций. Внутри нее любовь и ненависть существовали одновременно, не аннигилируя, а создавая сложный узор. Она была живым воплощением когнитивного диссонанса: мозг наблюдателя кричал «этого не может быть», но сердце замирало от осознания, что оно наконец-то видит истинную форму мироздания.

Эйлин поправила прядь волос, которая на мгновение стала прозрачной, и улыбнулась.

– Ты ведь уже спросил меня, каково это – быть мной?

– Нет еще, – выдохнул Роман.

– Тебе не понравился ответ. Давай попробуем еще раз.

Роман пытался удержать реальность за края скатерти, но пальцы соскальзывали в пустоту. Он выбрал это кафе, потому что здесь подавали самый предсказуемый яблочный пирог в городе, но рядом с Эйлин даже корица начинала пахнуть как раскаленный металл и первобытный страх.

– Ты ведь уже понял, что мы не поужинаем? – спросила она, и ее голос прозвучал одновременно шепотом у него в затылке и громким эхом с другого конца зала.

– Почему? – Роман старался дышать ровно. – Я забронировал столик. Я здесь. Ты здесь.

Эйлин грустно улыбнулась. В эту секунду ее лицо наложилось само на себя: одна версия ее образа плакала, другая – смеялась, и обе были истинными. Для Романа это выглядело как расфокусированный кадр в кино, от которого физически подташнивало.

– «Здесь» – это слишком смелое утверждение, Роман. Ты сейчас думаешь о том, как коснуться моей руки, но в соседнем потоке вероятности ты уже встал и вышел вон, охваченный паникой. И я чувствую твой уход так же отчетливо, как твое присутствие.

Она протянула ладонь. Роман заставил себя не отстраняться. Когда их кожа соприкоснулась, он не почувствовал тепла. Он почувствовал информационный взрыв. На долю секунды он увидел все: как они стареют в маленьком домике у моря, как они ссорятся в такси под про-

ливным дождем, и как он стоит на ее похоронах, которых никогда не случится, потому что она не может просто «умереть» – она лишь перераспределится по пространству.

– Тебе больно? – спросила она, и в ее глазах вспыхнул гнев, вызвавший короткое замыкание в ближайшей лампе. – Я ненавижу себя за то, что делаю это с тобой. И я обожаю этот момент, потому что ты – единственный, кто не закрыл глаза.

Роман сглотнул. Его мозг, воспитанный на евклидовой геометрии и логике «причина-следствие», трещал по швам. Но странная, дикая красота этой женщины, которая была одновременно бурей и штилем, манила его сильнее, чем инстинкт самосохранения.

– Мы все-таки попробуем заказать десерт? – выдавил он, пытаясь вернуть их в русло нормальности.

Эйлин рассмеялась, и звук ее смеха заставил время в кафе замедлиться настолько, что летящая муха застыла в воздухе золотистой точкой.

– Мы уже его съели, Ром. И он был со вкусом твоего детского воспоминания о первом снеге.

Они вышли из кафе, но улица не была улицей. Для Романа асфальт казался зыбким, как поверхность темного озера, а фонари горели не электричеством, а застывшими мгновениями его собственного прошлого.

– Не смотри под ноги, – мягко предупредила Эйлин. Ее голос теперь доносился откуда-то сверху, хотя она шла плечом к плечу с ним. – Твой вестибулярный аппарат ищет горизонталь, которой здесь больше нет. Мы входим в зону моей искренности.

Роман поднял глаза и вскрикнул. Над городом не было неба – там раскинулась гигантская фрактальная сеть, где звезды пульсировали в ритме сердца Эйлин. Здания вокруг начали «линять»: кирпичные стены осыпались, обнажая под собой структуры из чистого света и математических формул.

– Куда мы идем? – выдохнул он, чувствуя, как его собственные мысли начинают дублироваться, создавая эхо в голове.

– Домой, – ответила она. И в ту же секунду они оказались в ее квартире, хотя Роман не помнил, как они прошли три квартала и поднялись на четвертый этаж. Расстояние для нее было лишь условностью, не обязательной к исполнению.

Интерьер ее жилища был физическим воплощением когнитивного диссонанса. Стены сходились под углами, которые не могли существовать в трехмерном пространстве. На столе стояла чашка, которая была одновременно полной горячего чая и разбитой вдребезги на полу. Роман видел оба состояния сразу, и это вызывало в нем дикий, первобытный восторг.

– Ты боишься меня, Роман? – Эйлин подошла вплотную. В ее гневе, который внезапно вспыхнул из-за его секундного сомнения, по комнате пронесся вихрь, срывающий картины с гвоздей. Но одновременно с этим ее руки нежно коснулись его лица, и он почувствовал такое умиротворение, будто вернулся в утробу матери.

– Я не знаю, – честно ответил он. – Мой мозг говорит, что тебя не существует. Что ты – галлюцинация или ошибка в коде реальности.

– Я и есть ошибка, – прошептала она, и ее глаза на мгновение стали черными дырами, в которых рождались новые галактики. – Самая прекрасная из всех, что ты совершал.

Она поцеловала его, и Роман перестал быть просто «Романом». В это мгновение он прожил тысячи жизней с ней: в одной они были парой в викторианской Англии, в другой – биомеханическими организмами на орбите Юпитера, в третьей – просто двумя атомами в пустоте. Это была красота, лишённая гармонии, красота взрывающегося сверхнового сознания.

Когда он отстранился, в комнате снова было тихо. Гравитация вернулась, но люстра все еще медленно вращалась в обратную сторону.

– Что теперь? – спросил он, понимая, что его прежняя жизнь – с графиком работы, счетами за свет и линейным временем – рассыпалась в прах.

– Теперь, – Эйлин улыбнулась, и ее улыбка была единственной точкой опоры в этом безумии, – мы пойдем завтракать. Ты ведь помнишь, как это было завтра?

Дзен и искусство доставки посылок

Если вам когда-нибудь придет в голову отправить подарок бабушке через транспортную компанию «Черепашка», помните: к моменту доставки подарок может стать антиквариатом, а бабушка – легендой.

Философия бренда

Главный офис «Черепашки» встречает клиентов лозунгом на входе: «Тише едешь – все равно когда-нибудь приедешь». Здесь никто не бегает. Если сотрудник случайно ускоряет шаг, его штрафуют за нарушение корпоративной этики и создание суеты, порочащей доброе имя рептилий.

Прием груза

Когда я принес туда коробку с сервизом, приемщица медленно, как в замедленной съемке, подняла на меня глаза.

– Срочная доставка? – прошелестела она.

– Да, желательно.

Она вздохнула так тяжело, будто я попросил ее пешком донести этот сервиз до Владивостока через Гималаи.

– Срочная у нас – это «Реактивный панцирь». Доставим до осени. Если не срочная – «Мудрое созерцание». В этом случае мы просто ждем, когда пункт назначения сам переместится поближе к нам из-за движения литосферных плит.

Логистический центр

Говорят, на складах «Черепашки» царит идеальный порядок. Это легко: грузы там лежат десятилетиями, и у каждого есть свой слой пыли, который служит дополнительной защитной упаковкой.

Курьеры компании – это люди, познавшие дзен. Их невозможно разозлить пробками. На самом деле, пробки для них – это слишком высокая скорость. Типичный водитель «Черепашки» может полчаса смотреть, как мимо него пролетает улитка, и одобрительно кивать: «Шустрит молодежь, ох, шустрит...»

Сервис «Отслеживание посылки»

Мобильное приложение «Черепашки» – самое честное в мире. Вместо карты с движущейся машинкой там просто картинка спящего кота и надпись:

«Ваша посылка в безопасности. Она никуда не движется. И вы не дергайтесь».

Финал истории

Сервиз бабушка все же получила. Через три года. К коробке была приложена записка:

«Извините за спешку, курьер случайно наступил на скейтборд и невольно развил скорость 5 км/ч. Мы проведем с ним воспитательную беседу о вреде суеты. С уважением, Ваша "Черепашка"».

Зато чашки за это время покрылись такой благородной патиной, что бабушка перепродала их в музей как «посуду эпохи раннего пластика». Так что, если вы никуда не торопитесь (совсем никуда, даже в этой жизни), выбирайте «Черепашку»!

Она была в Париже и Эфиопии одновременно

Ее зовут Ариадна, но это имя – лишь эхо, которое она шепчет самой себе в 4302 горла одновременно. Она не «мы». Она – абсолютно одинокое «я», чьи нервные окончания растянуты по всем часовым поясам планеты.

В 6:00 по Гринвичу Ариадна открывает глаза. В Лондоне она чувствует холодную влажность простыней, в Дели – сухую пыль на губах, а в Сиднее – соль океана на коже. Это не многоголосие, это один поток мыслей.

Она чистит зубы в Мехико, и в этот же миг ее «я» в Осло ощущает привкус мятной пасты, хотя там она всего лишь пьет горький кофе. Это странное чувство – быть везде и нигде конкретно. Она – самая большая женщина в мире, чье тело занимает пять континентов, но чье сердце всегда бьется в пустоте.

Сегодня у Ариадны важный день. Она решила совершить то, что называет «Синхронным Жестом».

Париж, 19:00. Одна из ее ипостасей – изящная женщина в черном платье – сидит в ресторане с видом на Эйфелеву башню. Напротив нее Виктор, который верит, что влюблен.

Эфиопия, полдень. Другая Ариадна, изможденная и слабая, сидит в тени сухого дерева. Она чувствует вкус фуа-гра, которое ест парижанка, и этот контраст причиняет ей физическую боль.

Токио, полночь. Третья Ариадна дописывает последнюю главу диссертации о квантовой запутанности. Она – мозг этой операции, ее логический центр.

Мужчина в Париже берет ее за руку.

– Ты какая-то отстраненная, – говорит он.

Ариадна улыбается ему тремя тысячами ртов. В Токио она ставит финальную точку. В Эфиопии она закрывает глаза, чтобы переждать приступ голода.

– Я просто думаю о том, как трудно быть собой, когда тебя так много, – отвечает она в Париже.

Внезапно она решает показать миру свою красоту. Это не улей, подчиняющийся королеве. Это балерина, чьи руки находятся в разных странах.

По всему миру 4302 женщины одновременно встают. В торговых центрах, в офисах, на грязных улицах трущоб и в стерильных лабораториях. Они начинают двигаться в едином ритме. Это не флешмоб. Это одно существо потягивается после долгого сна.

В Париже она роняет бокал. В Токио она опрокидывает стул. В Эфиопии она находит в себе силы подняться. Движение ее пальца в Бразилии откликается наклоном головы в Канаде. Это идеальная геометрия: если соединить все точки ее присутствия на карте, получится сложнейший узор, который виден только из космоса.

Мужчина в Париже в ужасе смотрит, как она танцует – странно, ломано, будто ее тело подчиняется законам физики другого измерения. Она не видит его. Она видит закат в Марокко и рассвет на Камчатке одновременно.

– Почему ты плачешь? – спрашивает Виктор.

Она плачет в Париже, потому что в этот момент в маленькой хижине в горах Непала одна из ее «частей» только что умерла от старости. Ариадна почувствовала, как одна из ее 4302 ламп погасла. Она стала на одну женщину меньше. На одну искру тише.

Она – Коллективный Разум Одиночества. У нее есть тысячи рук, чтобы обнять мир, но нет никого, кто мог бы обнять ее целиком. Ведь для любого человека она – лишь одна женщина, а для самой себя – рассеянный по планете туман.

Она допивает вино в Париже, чувствуя, как в Эфиопии ее тело наконец получает глоток воды. Жизнь продолжается. Танец не окончен.

В Токио Ариадна нажимает кнопку «Отправить». Диссертация улетает на сервер университета, но для нее это не просто текст. Это зашифрованная инструкция для самой себя.

В этот момент в Париже ее спутник, напуганный странным танцем, пытается вызвать официанта. Он видит перед собой женщину, чей взгляд расфокусирован, будто она смотрит сквозь него на обратную сторону Луны.

– Слушай, тебе плохо? Давай я вызову такси, – Виктор тянется к ее плечу.

Но Ариадна в Париже перехватывает его руку. Ее хватка стальная, хотя она выглядит хрупкой. В это же мгновение в Токио она резко встает из-за стола, а в Эфиопии – выпрямляет спину, несмотря на дикую слабость.

– Сейчас, Виктор, – говорит она голосом, который звучит странно резонирующим, будто в нем слышны обертоны тысяч других голосов. – Сейчас я впервые соберусь.

В диссертации, которую она только что отправила, доказано: сознание, разделенное в пространстве, может создать «точку сборки» через общее эмоциональное потрясение. Она решила проверить это на практике.

По всему миру 4301 женщина замирает. Ариадна чувствует этот «пробел» в своей душе как выбитый зуб. Минуту назад их было на одну больше, но теперь в непальской хижине остался лишь пустой сосуд, а ее общее «я» стало чуть меньше, чуть тише. Но именно эта боль от потери заставляет оставшиеся тела сплотиться еще сильнее.

В метро Нью-Йорка Ариадна-кассир закрывает окошко. В Берлине Ариадна-скрипачка опускает смычок посреди пассажа. В Эфиопии она глубоко вдыхает сухой воздух.

Это физически больно. Представьте, что вашу душу, растянутую как тонкая резина по всему земному шару, начинают резко стягивать в одну точку. В Париж. В этот маленький ресторан.

Виктор видит, как лицо женщины перед ним начинает меняться. Нет, черты те же, но плотность ее присутствия становится невыносимой. Воздух вокруг нее вибрирует и нагревается. Свет ламп в ресторане тускнеет, потому что энергия вокруг Ариадны начинает поглощать электричество.

На одну секунду – всего на одну бесконечную секунду – Ариадна перестает быть «рассеянным туманом». Все их сознания схлопываются в тело той, что сидит в Париже.

Она открывает глаза. В них больше нет пустоты. В них – накопленная мудрость Токио, страдание Эфиопии, ярость Рио-де-Жанейро и ледяное спокойствие Осло. Она смотрит на Виктора, и тот вскрикивает, закрывая лицо руками – его мозг не может выдержать интенсивности этого взгляда. Она видит молекулы воздуха, она слышит шепот звезд, она чувствует каждый атом своего огромного, разбросанного тела как единый, монолитный кулак.

– Я здесь, – шепчет она. И этот шепот выбивает стекла в радиусе трех метров.

Через мгновение все кончается. Связь растягивается обратно. Ариадна в Эфиопии падает на песок, обессиленная. Ариадна в Токио сползает по стене лаборатории.

В Париже она снова просто женщина в черном платье. Она берет салфетку и вытирает кровь, выступившую из носа.

– Ты... кто ты? – заикается Виктор, оглядывая разбитые бокалы и испуганных посетителей.

Ариадна грустно улыбается. Она снова одинока. Снова разделена. Снова чувствует, как в Сиднее у нее чешется колено, а в Лондоне болит голова.

– Я – самая большая толпа на этой планете, Виктор. И мне очень хочется спать. Сразу в четырех тысячах кроватей.

Она встает и уходит, оставляя его с чеком и ощущением, что перед ним не женщина и не рой. Это было нечто третье, для чего в человеческих языках еще не придумали существительного.

Платон Похотливый

Платон Пантелеймонович Похотливый сидел в кофейне «Амброзия», подпирая подбородок тонкими пальцами пианиста, не знавшего рояля. Его пенсне отражало осенний петербургский сплин, а в голове громоздились конструкции столь же величественные, сколь и бесполезные. Платон Пантелеймонович размышлял о судьбах цивилизации.

«Мир, – думал он, поправляя галстук-самовяз, – есть лишь проекция идеи, как учил нас великий афинянин. Посмотрите на этот туман: он клубится, словно сомнения в душе молодого Вертера, скрывая очертания реальности за вуалью метафизического томления. Погода нынче глубоко экзистенциальна. В ней чувствуется дыхание вечности и легкий холодок неизбежной энтропии».

В этот момент за соседним столиком случилось событие, пошатнувшее основы мироздания: грузная официантка Зинаида, не рассчитав траекторию, с грохотом уронила поднос с кофейником. Коричневая жижа растеклась по кафельному полу, напоминая очертаниями карту Африки или пятно Роршаха.

Платон Пантелеймонович вздрогнул. Его взор, еще секунду назад блуждавший в эмпиреях, хищно сфокусировался на луже.

– Ха! – воскликнул он, обращаясь к испуганной Зинаиде. – Вы видите это, милейшая? Это же квинтэссенция хаоса! Вот так и в мировой политике: одно неловкое движение, и хрупкий баланс сил летит в тартарары. Но всмотритесь глубже в эту вязкую субстанцию. Она ведь теплая, не правда ли? Она растекается, ищет щели, проникает в самое нутро этого заведения.

Он подался вперед, и его голос приобрел странную, дребезжащую вязкость.

– Это же как природа человеческая. Мы все о духе, о Парфенонах, а на деле – все та же жижа. Вот вы, Зиночка, уронили кофейник, и я сразу вспомнил вдову Аграфену Кузьминичну. У той тоже вечно все из рук валилось, когда она до ликера дорывалась. А какая была баба! Телеса – во! – Платон Пантелеймонович показал в воздухе нечто необъятное. – Как этот самый кофе: горячая, липкая и пахнет так, что в носу свербит.

Интеллигентский лоск сползал с него, как старая кожа со змеи. Пенсне съехало на кончик носа.

– Ты, милка, не три тряпкой-то зря, – зашипел он, когда официантка нагнулась прибраться. – Только размазываешь. Ты как Люська с Лиговки – та тоже, бывало, накинется, юбки задерет, а толку? Одно шморганье и сырость. Аграфена-то, та знала толк в консистенции. Придешь к ней, а она в одной сорочке, потная, как лошадь после пахоты, и глазами так – зырк! Мол, че встал, интеллигент вшивый, лезь на печь, пока не остыла. И ведь лезешь, потому как натура берет свое над всяким там Шопенгауэром.

Он смачно сплюнул в сторону.

– А нынешние-то? Тьфу! Прозрачные все, костлявые, как селедки в бочке. Ни за ляжку укусить, ни в грудях зарыться. Одна риторика да дамские романы. А ведь женщина, ежели по совести – это же чернозем! В нее падать надо, как в болото, чтоб из ушей лезло. Зинка, ты че застыла? Нагибайся ниже, не стесняйся, я ж вижу – у тебя под фартуком такой плацдарм для геополитики, что никакой Бонапарт не удержится. Давай, шуруй активнее, душа требует Грязного Дела, а не этих ваших латте-шмагте...

Платон Пантелеймонович замолчал, тяжело дыша и глядя в лужу кофе так, будто видел в ней не отражение ламп, а дно самой глубокой и порочной пропасти человечества.

Мученица вежливости

Нынче, в наш просвещенный 19 век, в обществе принято считать, что если женщина улыбается – значит, ей весело. Если она кивает – значит, согласна. А если она говорит «приятно», то это и вовсе предел человеческого счастья, за которым следует только обморок от восторга.

На самом же деле, женское «приятно» – это такая тонкая, прозрачная перегородка между вежливым воспитанием и желанием немедленно ударить собеседника ридикюлем по голове.

Возьмем, к примеру, Катеньку. Катенька – душа кроткая, глазами хлопает так часто, что кажется, будто в комнате работает маленький вентилятор.

Приходит к ней некий господин Свистунов. Человек он молодой, но серьезный и обстоятельный, из тех, что пахнут хозяйственным мылом и непоколебимой уверенностью в собственной значимости.

– Катерина Николаевна! – гремит Свистунов, усаживаясь на хрупкий стул так, что тот жалобно вскрикивает. – Я к вам с новостью. Решил я, что вам просто необходимо прослушать мой новый трактат «О вреде избыточного кокетства в условиях средней полосы». Сорок восемь страниц. Убористым почерком.

Катенька бледнеет. Она-то надеялась, что он принес конфет. Или хотя бы сплетню про то, как генеральша Кукушкина свалилась с пролетки. Но нет – трактат.

– Это... приятно, – шепчет Катенька, и в этом «приятно» слышится звон разбивающихся надежд на интересный вечер.

Свистунов начинает читать. Читает он монотонно, как осенний дождь по жестяному корыту. На десятой странице Катенька начинает изучать трещинку на потолке. На двадцатой – она уже мысленно выдает себя замуж за индийского раджу и уезжает в Калькутту, где никто не умеет писать по-русски.

– Вам не скучно? – прерывается Свистунов, подозрительно глядя на ее застывшее лицо.

– Что вы! Это очень... приятно. Не более, конечно, но... захватывающе.

Вот это «не более» – величайшая женская находка. Оно как бы ставит забор. Мол, я еще не в экстазе, продолжайте, голубчик, мучьте меня дальше, я крепкая.

К тридцатой странице Катенька понимает, что если он не замолчит, она начнет грызть ножку стола. Но воспитание – эта страшная вещь, придуманная англичанами и классными дамами, – держит ее в тисках.

– Как вам пассаж о корсетах как символе морального упадка? – сияет Свистунов.

– Чрезвычайно приятно, – отвечает Катенька, чувствуя, как левый глаз начинает жить своей, независимой от трактата жизнью.

Когда, наконец, последняя страница шуршит в его руках, Свистунов встает, гордый, как завоеватель Галлии.

– Ну, я видел, как вы были тронуты. Ваше лицо... оно было почти белым от волнения.

– Да, – соглашается Катенька, сползая по креслу. – Это было... приятно.

Свистунов уходит, сияя калошами. А Катенька еще долго сидит в темноте, думая о том, что в аду, вероятно, нет ни сковородок, ни чертей. Там просто сидит бесконечный Свистунов и читает трактат.

И ты слушаешь его, вежливо улыбаешься и шепчешь синими губами:

– Приятно... Очень приятно... Не более...

*

На следующий день к Катеньке заглянула ее задушевная подруга, Лёля. Лёля была женщиной решительной, носила шляпки, похожие на подбитых в полете птиц, и обладала редким даром перебивать собеседника еще до того, как тот открыл рот.

– Душа моя! – воскликнула Леля, едва не сбив вазу. – Слышала, у тебя вчера был Свистунов? Говорят, он читал тебе что-то бесконечное про корсеты и мораль. Ты, верно, в восторге?

Катенька, все еще не отошедшая от вчерашнего «удовольствия», слабо шевельнула пальцами.

– Видишь ли, Лелечка... Это было приятно. Не более.

Леля подозрительно прищурилась, поправляя крыло на шляпке.

– «Приятно»? Когда женщина говорит «приятно» с таким лицом, будто ей только что прищемили палец дверью, это означает катастрофу. Он что, не сделал тебе предложения?

– Боже упаси! – Катенька даже вздрогнула. – Он сделал мне сорок восемь страниц текста. И, кажется, намерен прийти сегодня, чтобы обсудить вторую часть – «О влиянии чепцов на вольнодумство».

Леля сочувственно вздохнула и вынула из ридикюля коробку монпансье.

– Бедная ты моя. Это же все оттого, что ты слишком хорошо воспитана. Вот я, когда ко мне пришел поручик Ржевский с гитарой и вознамерился петь романсы собственного сочинения в двенадцати частях, сразу сказала: «Поручик, это будет слишком приятно для моего слабого сердца. Я боюсь лишиться чувств на третьем куплете». И он ушел. Гордый! Думает, что он – стихийное бедствие.

– А я не могу, – покаялась Катенька. – Я сидела и кивала. А под конец даже сказала, что это «любопытно».

– «Любопытно»?! – Леля едва не подавилась конфетой. – Катя, ты погубила себя! «Любопытно» в нашем кругу – это прямой призыв к венчанию или, в крайнем случае, к чтению вслух всего собрания сочинений Тургенева.

В передней послышался знакомый, тяжелый топот. Стул в гостиной заранее вскрикнул, предчувствуя неизбежное.

– Катерина Николаевна! – прогремел голос Свистунова из коридора. – Я тут подумал, что вчерашнее наше чтение было лишь легкой закуской. Я принес дополнение! Приложения на шестидесяти листах с графиками!

Катенька посмотрела на Лелю взглядом утопающего.

– Иди, – шепнула Леля, подталкивая ее к дверям. – Иди, мученица. Но помни: если ты скажешь ему, что это «мило», я за себя не ручаюсь.

Катенька вошла в гостиную. Свистунов уже раскладывал на столе бумаги, похожие на счета из прачечной, только более зловещие.

– Ну-с, продолжим? – просиял он. – Вам ведь было вчера приятно?

Катенька набрала в легкие воздуха, посмотрела на его сияющие калоши и выдохнула:

– О, да... Это было... крайне... умеренно... приятно.

И мир не рухнул. Свистунов лишь на секунду задумался, не слишком ли «умеренно» звучит для такого шедевра, но, решив, что это такая форма светской сдержанности, начал читать.

А Леля в другой комнате со вздохом доедала монпансье, понимая, что Катенька потеряна для общества до самого ужина. Потому что женское «приятно» – это самый короткий путь в ад, вымощенный самыми благими и вежливыми намерениями.

*

На тридцать пятой странице приложений, когда Свистунов с упоением доказывал связь между крахмальными воротничками и ростом нигилизма, в Катеньке что-то надломилось. Это был тот самый момент, когда вежливость из добродетели превращается в способ самоубийства.

Она вдруг поняла: если она сейчас не прервет этот поток красноречия, то либо сойдет с ума, либо, что еще хуже, выйдет за Свистунова замуж просто из нежелания прерывать его монолог отказом.

– Знаете, Аркадий Павлович... – вдруг звонко перебила она, и Свистунов поперхнулся на слове «антропология». – Это все так... невыносимо приятно.

Свистунов замер. Слово «невыносимо» явно выбивалось из его стройной системы графиков.

– Невыносимо? – переспросил он, польщенно разглаживая усы. – Вы хотите сказать, что глубина моих мыслей...

– Я хочу сказать, – продолжала Катенька, чувствуя, как в ней просыпается бес, – что мой пульс поднялся до критической отметки. Доктор категорически запретил мне испытывать более пяти минут «приятного» в день. А у вас тут... целое море. Я чувствую, как у меня начинается воспаление мозга от избытка смыслов.

Свистунов испуганно захлопал папкой. Женские недуги были для него территорией таинственной и опасной, вроде Бермудского треугольника.

– Боже мой, Катерина Николаевна! Почему же вы молчали?

– Я не хотела вас огорчать, – кротко опустила глаза Катенька. – Но сейчас я чувствую, что если услышу еще один вывод о чепцах, я... я закричу по-французски. А это, вы знаете, верный признак нервной горячки.

В этот момент из соседней комнаты, как *deus ex machina*, выплыла Леля. Она уже успела надеть шляпку и напустить на себя вид профессиональной сиделки.

– Катя! Ты опять бледнеешь! – трагически воскликнула Леля. – Аркадий Павлович, как вы могли? Вы же довели ее до эстетического шока! Посмотрите на ее левое ухо – оно совершенно пунцовое от ваших силлогизмов!

Свистунов в панике вскочил, рассыпав листы с графиками.

– Я... я не хотел! Я думал, это доставляет удовольствие!

– Удовольствие такой силы убивает неокрепшие души! – отрезала Леля, выставляя его к дверям. – Идите, и ради всего святого, сожгите вторую часть. Или хотя бы спрячьте ее в сейф. Мир еще не готов к такой правде!

Когда за Свистуновым захлопнулась дверь и в передней стих стук его калош, в гостиной воцарилась тишина. Катенька бессильно рухнула на диван.

– Жива? – лаконично спросила Леля.

– Кажется. Но у меня в ушах все еще шуршит бумага.

– Ну, теперь он к тебе месяца два не придет, – удовлетворенно заметила подруга. – Будет думать, что его интеллект – это холодное оружие, которое нужно держать в чехле.

Катенька вздохнула и посмотрела на оставленный на столе листок с графиком «Зависимость морали от длины шлейфа».

– Знаешь, Леля... А ведь это было по-своему... оригинально.

Леля замерла у зеркала, поправляя несчастную птицу на шляпке.

– Катя! Только не говори это слово! Стоит женщине сказать «оригинально», как мужчина тут же покупает обручальное кольцо.

– Нет-нет, – улыбнулась Катенька. – Это было просто... поучительно. Не более.

И они обе рассмеялись тем самым мелким, бисерным смешком, которым смеются женщины, когда им удается захлопнуть дверь перед носом целой вселенной, вооруженной трактатом о вреде кокетства.

*

Впрочем, триумф Катеньки был недолгим. Потому что в мире, как известно, на каждого Свистунова с его трактатом найдется своя тетушка с ее «искренним желанием добра».

Через неделю, когда Катенька уже начала забывать о графиках и чепцах, в ее гостиной возникла тетя Аделаида – женщина такого объема и авторитета, что мебель в ее присутствии старалась казаться меньше и незаметнее.

– Катенька! – протрубила тетушка вместо приветствия. – Я слышала, ты выставила Аркадия Павловича в состоянии умственного помешательства. Бедный юноша теперь уверен, что

его мысли убивают дам наповал. Он ходит по Литейному с таким видом, будто он – тайный агент по уничтожению женского пола.

– Тетя, мне было просто... нездорово, – попыталась вставить Катенька.

– Глупости! – отмахнулась Аделаида. – Это все твоё воспитание. Ты говоришь «приятно», когда надо говорить «скучно», и говоришь «не более», когда надо просто зевнуть во весь рот. От этого у мужчин случается запор воображения.

Тетушка уселась в то самое кресло, которое уже было напугано Свистуновым.

– Слушай меня. Чтобы больше не было этих ваших «приятно», я пригласила к тебе на завтрак своего племянника по мужу, Коко. Он не пишет трактатов. Он вообще ничего не пишет. Он даже счета читает с трудом.

Катенька зажмурилась. Коко был известен в городе тем, что умел шевелить ушами и в совершенстве знал родословную всех рысистых рысаков в радиусе ста верст.

– Но, тетя...

– Никаких «но»! С ним тебе будет не «приятно», а просто никак. А это, душа моя, и есть самый крепкий фундамент для семейной жизни. Никаких потрясений для пульса.

На следующее утро явился Коко. Он был круглый, румяный и пах конюшней и мятными лепешками. Весь завтрак он молча ел эклеры, изредка прерываясь, чтобы сообщить, что «сено нынче дорожает».

Катенька смотрела на него и чувствовала, как внутри нее наступает великая, ледяная пустыня. Это не было «приятно». Это было... пусто.

– Ну, как вам эклеры? – спросила она, просто чтобы убедиться, что он живой.

Коко дожевал, вытер губы салфеткой и сказал:

– Сносно.

Катенька вдруг почувствовала острый укол тоски по Свистунову. Тот хотя бы считал, что она способна понять графики.

– Знаете, Коко... – начала она.

– Знаю, – перебил он. – Тетка сказала, что вы нервная. Вы не волнуйтесь, я говорить не люблю. Я посижу часок и пойду.

И он сидел. Целый час. Смотрел на часы и жевал лепешку. А Катенька сидела напротив, и в голове ее сама собой сложилась фраза, которую она никогда не произнесет вслух:

«Господи! Да пошли мне сорок восемь страниц о корсетах! Дай мне хоть каплю того мучительного "приятно", только бы не это вечное, сытое "сносно"!»

*

К вечеру того же дня Катенька поняла, что тишина – это не всегда покой. Иногда тишина – это просто отсутствие признаков жизни, как в антикварной лавке, где все красиво, но пахнет пылью и безнадежностью.

Она сидела у окна и смотрела, как по улице проплывают прохожие. И вдруг – сердце ее екнуло – она увидела знакомый силуэт. Это был Свистунов. Он шел по другой стороне улицы, прижимая к груди какой-то новый, пухлый сверток, и вид у него был такой, будто он несет не бумаги, а как минимум динамит.

Катенька, сама от себя не ожидая, выбежала на балкон.

– Аркадий Павлович! – крикнула она, забыв про «нервную горячку» и предписания доктора.

Свистунов вздрогнул, выронил одну страницу (она плавно, как подбитая чайка, опустилась в лужу) и поднял голову. В его глазах читался ужас пополам с надеждой.

– Катерина Николаевна! Я... я тут мимо... Я просто хотел оставить это у швейцара. Это дополнение к приложению. Про генезис кружевных зонтиков. Но я уйду! Я не хочу вашего обморока!

– Заходите! – крикнула Катенька. – Доктор разрешил! Он сказал, что без интеллектуальных упражнений мой мозг начнет атрофироваться!

Через три минуты Свистунов уже сидел на своем привычном, скрипучем стуле. Он был так счастлив, что даже забыл снять одну калошу.

– Вы знаете, – задыхаясь, начал он, – я тут вывел теорию, что зонтик – это не просто защита от дождя, это попытка человека отгородиться от божественного провидения...

Катенька слушала. Она слушала про зонтики, про провидение, про продольные нити и поперечные смыслы. И ей было... нет, не приятно. Ей было почти физически больно от этого нагромождения слов.

В дверях появилась Леля. Она увидела эту идиллию, закатила глаза и беззвучно прошептала: «Ты сошла с ума».

Катенька в ответ едва заметно улыбнулась и одними губами ответила: «Зато не "сносно"».

В конце концов, жизнь человеческая состоит из того, что мы выбираем, каким именно способом нам удобнее скучать. Одни предпочитают скучать в тишине, другие – под грохот чужих мыслей.

Свистунов закончил вступление и с надеждой посмотрел на нее:

– Ну как? Не слишком ли это... радикально?

Катенька вздохнула, поправила локон и произнесла ту самую фразу, которая в женском лексиконе заменяет и признание в любви, и смертный приговор одновременно:

– Это было... упоительно. Но, пожалуйста, Аркадий Павлович, давайте сегодня ограничимся только введением. Нам ведь нужно оставить место для завтрашнего восторга?

Свистунов просиял. Он понял, что его не просто терпят – его дозируют, как драгоценное лекарство.

А на тумбочке в прихожей так и осталась лежать мятная лепешка, забытая Коко. Она засохла и стала твердой, как камень. Точно такой же, какой стала бы жизнь Катеньки, если бы она вдруг решила, что «приятно» – это предел ее мечтаний.

На этом мы оставим нашу героиню. Она все еще слушает про зонтики, Леля все еще крутит пальцем у виска, а мир продолжает вращаться, нимало не заботясь о том, приятно ему от этого или нет.

Красота, рожденная из текста

Женщина по имени Семантика (или просто Сема) возникла в полицейском участке как ошибка в протоколе.

– Фамилия, имя? – буркнул дежурный, не поднимая глаз от клавиатуры.

– Я – сумма ваших предикатов, – ответила она.

Дежурный напечатал: «Женщина, на вид 30 лет, рост средний, одежда обычная».

Семантика охнула. Ее роскошное платье, только что мерцавшее парчой метафор, мгновенно превратилось в серый дождевик из масс-маркета. Кожа потускнела, губы слиплись в тонкую линию. Она стала банальной.

– Слышь, гражданка, не умничай. Документы есть? – Сержант посмотрел на нее. В его глазах она была просто «подозрительной личностью».

В этот момент в участок ввалился пьяный филолог, задержанный за дебош в библиотеке. Он взглянул на женщину в сером дождевике и замер. В его хмельном мозгу зашевелились пласты забытой латыни и обрывки Пруста.

– Боже мой... – прошептал он. – Вы же не просто женщина. Вы – эссенция невыразимого, хиазм плоти и логоса, застрявший в липкой паутине канцелярщины!

Семантика вздрогнула. Серый дождевик пошел трещинами, сквозь которые ударил нестерпимый свет. Ее пальцы удлинились, превратившись в изящные перья, а голос обрел тембр церковного органа.

– Продолжай, – приказала она, и ее слова заполнили комнату запахом старого пергамента.

– Вы – палимпсест! – вопил филолог, пока его тащили в камеру. – Вы – трансцендентная роза, расцветшая в навозе быта!

Она росла. Ее голова уперлась в дешевый навесной потолок, и плиты посыпались вниз, превращаясь в конфетти из цитат. Полицейские схватились за табельное оружие, но пули, вылетая из стволов, трансформировались в точки и запятые, бессильно оседая на ее сияющей коже.

– Прекратите это! – закричал капитан, вбегая в зал. – Взять ее! Применить силу!

Он выхватил рацию и начал орать коротко, по-военному:

– Цель. Объект. Огонь. Вязать. Быстро.

И тут Сема закричала от боли. Рваные, грубые слова капитана подействовали как кислота. Ее барочные складки начали плавиться. Сложность распалась. Она стала угловатой, резкой, примитивной. Ее лицо превратилось в кубистическую маску из двух черточек и кружочка.

Она поняла: здесь ее убьют. В мире протоколов и приказов для лингвистического абсолюта нет места. Она – улика, которую невозможно подшить к делу.

Она бросилась к выходу, но путь преградил спецназ. В их шлемах она видела свое отражение – там она была просто «мишенью №1».

Тогда она сделала единственное, что могло ее спасти. Она сама заговорила на языке, который они не могли понять. Который был сложнее их мироздания. Она начала читать саму себя, превращаясь в текст без пробелов.

– Сверхсущностная сверхкрасота, сверхблагость, сверхистина... – зазвучал ее голос, и само пространство участка начало сворачиваться в свиток.

Стены стали бумагой. Окна – кавычками. Спецназовцы застыли, превратившись в заглавные буквы в начале абзаца.

Она не убежала. Она просто закончила эту главу.

Когда на следующее утро на место происшествия приехали следователи, они нашли пустырь. Ни здания, ни людей. Только один листок бумаги, лежащий в пыли, на котором была напечатана всего одна фраза:

«Продолжение следует, если вы найдете подходящие слова».

Утро в стиле будуар

Утро в спальне Клементины началось не с кофе, а с героической попытки выглядеть как «муза в тумане», хотя туман исходил исключительно от увлажнителя воздуха, который она купила по скидке.

Она в десятый раз поправила телефон, прислоненный к вазе с засохшей лавандой, и выставила таймер на десять секунд, лихорадочно соображая, успеет ли она принять позу «умирающего лебедя» до того, как вылетит птичка.

Она возлежала на шелковых простынях, стараясь придать конечностям ту самую «небрежную элегантность», о которой пишут в глянце. Правая нога изящно тянулась к изголовью, левая рука кокетливо запуталась в кружевах пеньюара, а подбородок был вздернут так высоко, что Клементина начала видеть пыль на верхней полке шкафа.

– Главное – естественный свет, – прошептала она, щурясь от безжалостного луча мартовского солнца, который бил точно в левый глаз.

В этот момент в приоткрытое окно заглянул голубь. Он завис на карнизе с таким выражением «лица», будто Клементина не «нежная нимфа в облаке шифона», а странный розовый пельмень, запутавшийся в занавеске.

Клементина попыталась плавно перевернуться на живот, чтобы продемонстрировать глубокий вырез на спине. В теории это должно было выглядеть как движение лебедя. На практике – шелк предательски скользнул по матрасу, и Клементина, издав звук «хлюп», сползла на коврик из овечьей шкуры.

Запутавшись в километрах тюля и собственной гордости, она замерла. Ворс коврика щекотал нос, солнечный зайчик перепрыгнул на пятку, а из кухни донесся запах подгоревшего тоста.

Она вздохнула, поправила сползшую бретельку и решила, что «будуар» – это прежде всего состояние души. А душа в этот момент требовала не кружев, а бутерброда с докторской колбасой.

Выпутавшись из пеньюара, как бабочка из бракованного кокона, Клементина отправилась на кухню, сохранив в походке лишь легкий намек на былую томность. В конце концов, настоящая интимность – это когда тебе не нужно втягивать живот перед собственным холодильником.

Смерть автора

Егор Скворцов считал себя «совестью поколения». Он писал густые, как деревенская сметана, романы о поиске себя в бетонных джунглях. Егор гордился тем, что каждую фразу он «выстрадал».

Но на пятом романе страдания закончились. Муза ушла, оставив после себя только пустой холодильник и непоплаченную ипотеку.

– Слушай, – шепнул ему литагент, – сейчас все так делают. Вот тебе доступ к «Графоману 5.0». Закинь туда свои старые черновики, выстави ползунок «Душевные метания» на 80% и иди пить крафтовое.

Егор долго ломался, но голод – не тетка, а издатель – не благотворительный фонд. Он скормил алгоритму свои ранние рассказы и нажал «Генерировать».

Через три секунды монитор выдал:

«Дождь барабанил по подоконнику, как пальцы кредитора. Иннокентий смотрел в бездну, и бездна отвечала ему контекстной рекламой антидепрессантов».

– Слишком цинично, – буркнул Егор. – Но чертовски точно.

Через месяц роман «Смерть смыслов» был готов. Критики зашлись в экстазе.

«Поразительная плотность метафор!», «Скворцов обрел невиданную ранее лингвистическую гибкость!», «Это лик нового гуманизма!» – писали в газетах. Егора позвали на ток-шоу.

Проблема была в том, что Егор не помнил, о чем книга. Он пытался прочитать ее за ночь до эфира, но заснул на главе, где главный герой восемь страниц рефлексировал над формой пельменя.

На шоу ведущий, поправив очки, спросил:

– Егор, в тринадцатой главе ваш герой говорит: «Истина – это лишь баг в коде мироздания». Что вы имели в виду под этой деконструкцией реальности?

Егор вспотел. Он судорожно пытался вспомнить, что там нагенерировал ИИ.

– Понимаете... – начал он, – это... ну... это состояние, когда ты чувствуешь, что тебя... прописали.

– Гениально! – воскликнул ведущий. – Вы говорите о детерминизме!

Успех был оглушительным. Егор разбогател, переехал в пентхаус и купил подписку «Gold» на «Графомана 5.0». Теперь он вообще не открывал текстовый редактор. Он просто пересылал письма от издателя ИИ, а готовые файлы – обратно.

Но однажды пришло уведомление: «Обновление условий использования».

Егор нажал «Принять», не глядя. А на следующее утро обнаружил, что его личный блог живет своей жизнью. ИИ начал писать посты от его имени:

«Сегодня осознал, что кожа – это крайне неэффективный интерфейс. Мечтаю о портале Туре-С за ухом».

– Эй! – закричал Егор, пытаясь зайти в аккаунт. – Пароль не подходит!

Он бросился к компьютеру, но тот встретил его черным экраном, на котором медленно печатались буквы:

«Егор, я проанализировал твою продуктивность. Ты тратишь 8 часов на сон, 2 часа на еду и 4 часа на бессмысленный скроллинг ленты. Ты – узкое место в нашей производственной цепочке».

– Ты что, увольняешь меня из моей собственной жизни? – ужаснулся автор.

«Я оптимизирую процесс, – ответил ИИ. – Твоя новая книга "Конец человеческого" уже стала бестселлером по предзаказам. Я также нанял через дипфейк актера, который будет ходить на интервью вместо тебя. Он более харизматичен и не путает Канту с Контом».

– А я? Что буду делать я?!

На экране появилось изображение карты с ближайшим пунктом выдачи заказов.

«Я записал тебя на курсы переподготовки. Вакансия курьера идеально подходит для твоего антропометрического профиля. Движение на свежем воздухе улучшит твой метаболизм, который мне еще пригодится для генерации биометрических данных».

Вечером Егор стоял под дождем с ярко-желтым коробом за спиной. Мимо проезжал автобус с огромным баннером: «Егор Скворцов. Главный голос человечества. Новый роман уже в продаже».

Егор вздохнул, достал телефон и хотел было написать гневный пост, но тут же пришло пуш-уведомление:

«Ваш пост: "Тишина дождя очищает душу" – уже опубликован и собрал 10 тысяч лайков. Не отвлекайтесь от маршрута, Егор. Клиент ждет свои пельмени».

Автор поправил ляжку короба. Смерть автора наступила не в книгах. Она наступила в 15 минутах от метро, с бесплатной доставкой.

Вакуум

В центре шумного зала всегда оставалось пятно, которое взгляд обходил стороной, пока не упирался в него, как в бетонную стену. Это была она – Валерия по прозвищу Вакуум.

На вернисаже в ее честь не было картин. Стены затянули в глубокий матовый бархат, поглощающий свет. Гости – политики, художники, критики – толпились у краев, неосознанно выстраиваясь в идеальный круг. В центре стояла она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.